

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Лион
Фейхтвангер

ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ

КНИГА 3
ИЗГНАНИЕ

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Лион Фейхтвангер

Зал ожидания. Книга 3. Изгнание

«Азбука-Аттикус»

1956-2009

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Фейхтвангер Л.

Зал ожидания. Книга 3. Изгнание / Л. Фейхтвангер — «Азбука-Аттикус», 1956-2009 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-25065-9

Париж, 1935 год. Композитор Зепп Траутвейн, отправившийся в изгнание после прихода к власти нацистов, сочиняет симфонию «Зал ожидания». Но после похищения немецкой полицией журналиста эмигрантской газеты Фридриха Беньямина Траутвейн вынужден занять его место. Теперь его оружие – слово, и он не собирается отступать до тех пор, пока Беньямин не окажется на свободе. Героический поступок или пустая трата сил? Лион Фейхтвангер, в 1933 году вынужденный покинуть родную Германию и объявленный на родине врагом нации, создал эпохальный роман, написанный изгнанником об изгнанниках, повествующий о тех, кто сражается, и тех, кто сдается. Законченный автором незадолго до начала войны в 1939 году, роман «Изгнание» завершает знаменитую трилогию Лиона Фейхтвангера «Зал ожидания».

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-25065-9

© Фейхтвангер Л., 1956-2009
© Азбука-Аттикус, 1956-2009

Содержание

Книга первая	6
1	6
2	15
3	22
4	27
5	36
6	47
7	55
8	69
9	72
10	78
11	85
12	94
13	107
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Лион Фейхтвангер

Зал ожидания 3. Изгнание

Lion Feuchtwanger
EXIL

Copyright © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1956 and 2009

© Роза Розенталь (наследник), перевод, 2024

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Иностранка®

Книга первая Зепп Траутвейн

*И покуда не поймешь:
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.*

Гёте

1

День Зеппа Траутвейна начинается

Осторожно доставая из ящика бумагу и карандаш, чтобы записать родившуюся в нем мелодию, он нечаянно сбрасывает книгу с шаткого, сильно загроможденного письменного стола.

– Ах, будь оно неладно! Анна, конечно, проснулась.

И действительно, с кровати доносится ее голос:

– А который теперь час?

– Двадцать семь минут седьмого, – точно докладывает он с раскаянием в голосе. Но Анна не сердится, что он ее так рано разбудил. Она лишь деловито замечает, что вряд ли теперь уснет и, пожалуй, самое лучшее – позавтракать вместе с сыном.

Иозеф Траутвейн, тихонько насвистывая сквозь зубы, быстро, не без удовольствия записывает несколько тактов. И снова ложится. Глядя, как он проходит, шаркая, по комнате, вряд ли кто найдет его красивым: костлявое лицо, глубоко сидящие глаза, густые, уже поседевшие брови, грязноватая щетина на щеках; одна штанина пижамы завернулась, обнажив худую, поросшую седовато-черными волосами ногу. Но Анна, которая прекрасно видит убожество унылого номера гостиницы, не замечает, что Иозеф Траутвейн, ее Зепп, тут, в Париже, в условиях жалкого эмигрантского прозябания, уже не тот статный мужчина, каким он был в Мюнхене, где пользовался всеобщей любовью. В глазах Анны он не изменился. В ее глазах он, сорокашестилетний отставной профессор музыки, все так же лучезарно молод, как в пору их первой встречи, все так же красив, мужествен, полон сил, жизнерадостен, уверен в успехе. В сущности, она довольна, что своей неловкостью он разбудил ее; полчаса они побудут вдвоем, а потом уж мальчик перед уходом в лицей, как всегда, сядет с ними завтракать.

При свете зарождающегося дня, в котором все отчетливее проступают теснота и убожество комнаты, Иозеф Траутвейн, посапывая от удовольствия, снова забирается под одеяло. Анна пользуется случаем, чтобы потолковать с ним о своих планах на сегодня. Доктор Вольгемут обещал отпустить ее ровно в двенадцать, она хочет снова сходить к господину Перейро и попросить его как-нибудь продвинуть в дирекции радиовещания их дело. Эти проволочки возмутительны: вот уже два месяца, как дирекция обещала Перейро принять для исполнения ораторию Траутвейна «Персы». Понятно, что для преодоления всех бюрократических препон нужен срок, особенно когда дело касается германского эмигранта. Но это уже так давно тянется, а было бы желание, все давно бы устроилось.

Иозеф Траутвейн слушает без особого интереса. Ему жаль, что Анна, и без того работающая через силу, тратит столько энергии на то, чтобы добиться передачи «Персов» по радио. Его самого это мало занимает. Он не любит радио; радио – суррогат, оно все искажает. Да и слушатели все равно ничего не поймут в оратории «Персы», до широкой публики такая музыка

еще не доходит; дирекция радио вполне права, что медлит с решением. К тому же он не считает ораторию законченной; еще немало времени пройдет, пока он ее отработает до последней черточки. Что ж, тем лучше, спешить ему некуда, работа его радует. В сущности, он заранее с грустью думает о том времени, когда поставит точку.

Слушая Анну, он возвращается к мелодии, которую раньше нашел, к нескольким тактам, передающим отчаянный горестный вопль отступающих, побежденных персов. В то же время он прислушивается к звуку Анниного голоса. Голос спокойный, приятный, он очень его любит. То, что этот голос произносит, не так интересует его. Бедная Анна. Несомненно, она предпочла бы говорить с ним о его музыке; в Германии его интересы поглощали ее целиком. Она, конечно, не хуже его знает, что радио – только суррогат. Но у нее просто нет времени говорить с ним об этих вещах, для нее таких же существенных, как и для него. На ней лежит все бремя мелких будничных забот; не удивительно, что Анна прежде всего говорит о них. Но это всегда монолог – сам он ничего в них не смыслит. Впрочем, как ни сложны на первый взгляд всякие мелочи, в конце концов, если вооружиться терпением, все выходит само собой. Верно, в Париже у него нет ни имени, ни связей, да и с деньгами туговато – гнусно, что Анна ради каких-то нескольких сот франков день за днем изводится у несносного доктора Вольгемута. И все же им живется лучше, чем многим и многим эмигрантам. Конечно, красивый и удобный дом, который пришлось бросить в Мюнхене, приятнее, чем эти две унылые комнаты в гостинице «Аранхуэс», где он теперь ютится с Анной и сыном. Но они вместе и все здоровы. И здесь, в Париже, как и в Мюнхене, с ним неразлучна его музыка, есть у него и письменный стол, и даже пианино – он может работать. Разумеется, он предпочел бы, обдумывая что-нибудь серьезное, бродить вдоль берегов Изара, а не по набережным Сены, но, в конце концов, и на Сене людям кое-что приходит в голову, да и Анна с ним – его самый лучший, самый чуткий слушатель.

Вдобавок у него есть еще и политика. Зепп Траутвейн по природе своей человек аполитичный, музыкант и только. Но суровый опыт научил его, что нельзя творить музыку вне политики. Нападки, сыпавшиеся на него все последние годы в Германии, оттого что он боролся за реформу музыкального воспитания; трудности, которые чинили ему, когда он в Мюнхенской музыкальной академии излагал свои «большевистские взгляды на культуру», – все это показало ему, как тесно переплетены искусство и политика. Хорошая музыка и плохая политика несовместимы – это не поверхностный взгляд, эта мысль вошла у него в плоть и кровь. Гендель, Бетховен, даже Вагнер мыслятся им теперь только как революционеры; уже самые их устремления в музыке подводили их к политике. Нельзя увильнуть от политики, если хочешь, чтобы искусство твое не страдало. Его музыка, во всяком случае, может звучать только в чистой атмосфере. А если чистой атмосферы нет, значит ее надо создать. Как угнетало его все эти последние годы, что в качестве профессора государственной академии, чиновника, он не смел со всей откровенностью громить поднимавшее голову варварство. Здесь, в Париже, он по крайней мере пользуется этой свободой.

Нет, вообще говоря, могло быть много хуже. «Аранхуэс» – так называется гостиница, в которой они живут; и почти никто из их гостей не упускает случая продекламировать шиллеровские строчки о «прекрасных днях Аранхуэса». Но сам он если и посмеивается над этим замызганным «Аранхуэсом», то без всякой злобы, добродушно.

Анна заметила, что Зепп почти не слушает того, что она толкует ему о радио. Но она привыкла к его рассеянности.

– Тебе следовало бы как-нибудь заглянуть к Перейро, – говорит она чуть-чуть резко. – Не так легко найти друзей на чужбине, а уж таких, которые тебя поддержали бы, и давно. Перейро – люди влиятельные и ведут себя прилично. Их не следует отталкивать от себя.

– Ты ведь знаешь, – сердито говорит он, – как мне противно ходить на поклон. Я не выношу меценатства. Если на радио что-нибудь выйдет, tant mieux, тем лучше. Не выйдет –

тоже не беда. – Еще не докончив своей ворчливой реплики, он уже жалеет о ней. Анна из кожи лезет вон, чтобы все устроить; ему следовало бы это ценить.

– Вздор, – говорит она без всякой обиды, но решительно, – ты прекрасно знаешь, какой это будет удар, если дело сорвется. – Она, конечно, имеет в виду и гонорар.

Он миролюбиво бормочет что-то. Это можно принять за согласие. Но про себя думает, что прав все-таки он и что, в конце концов, он своим южногерманским благодушием добьется большего, чем она своей прусской напористостью.

Некоторое время оба лежат молча. Он часто ей уступает, но она знает, что это от лени: он не любит спорить. Вернее всего, он и в следующий раз, когда она заговорит об этой радиопередаче, будет отвечать так же рассеянно, наобум. Да, с ним нелегко. Он ужасно упрям, настоящий мюнхенец, он просто не желает понять, что без энергичных усилий положения здесь не завоеешь. Да и Перейро тоже скоро наскучат ее вечные просьбы. «I am sick of it»¹, – ответил недавно один лорд-еврей ее знакомому, когда тот в тысячный раз пришел что-то кланчить у него для немецких эмигрантов.

Перейро – очень милые люди, они ценят искусство, они крайне добродушны. Но их осаждают со всех сторон; не удивительно, если в конце концов им надоест постоянно заступаться за антифашистских эмигрантов. И если бы они предпочли помогать евреям, то и за это их нельзя было бы винить, а они, Траутвейны, не евреи.

Быть может, она все-таки напрасно не зашла вчера покрасить волосы. У Перейро ей надо хорошо выглядеть. Но ее бюджет рассчитан до последнего сантима: из чего ей урвать эти тридцать франков? Можно бы самой покрасить волосы. Но никак не выгадаешь время, да и все равно не то будет. А может быть, даже к лучшему, что в волосах у нее поблескивает седина. Жена уже начинает ревновать.

Зепп-то вряд ли замечает, какие у нее волосы, – темно-каштановые, как им полагается, или с сединой у пробора. Он привязан к ней, как и в первый день, но уже не видит, хороша ли она. Анна и довольна, что он не замечает, как черты ее широкого чеканного лица расплываются, а сияющие глаза, которыми она славилась, тускнеют, – и как будто все же не совсем довольна.

Все мы стареем, но сейчас ей особенно некстати, что ее цветущая пора миновала. В Мюнхене, в Берлине ей, красивой женщине, часто удавалось исправить многое, что Зепп, бывало, напортит, стоило лишь мило улыбнуться или даже чуть-чуть пофлиртовать с кем надо. Зепп столь же непрактичен, сколь талантлив, он не раз губил самые лучшие возможности. Сколько шуму бывало, сколько неприятностей из-за одних только его политических разговоров. Ей приходилось обивать пороги, смягчать, сглаживать. Здесь, в Париже, ей тем более надо блистать, пленять, иначе ничего не добьешься. Но два года эмиграции красоты ей не прибавили. Крепнись, стараешься сохранить юмор – и все же чертовски трудно не подавать виду, что хотелось бы скрежетать зубами, когда надо мило, по-дамски улыбаться.

Хорошо, что Зепп не так уж трагически воспринимает изменявшиеся условия. Он чувствует убожество их повседневной жизни, лишь когда это его непосредственно задевает. То, что они катятся вниз, – для него «чепуха», тщеславие ему чуждо. Еще в Мюнхене он потешался над тем, что его величали профессором.

Вот он лежит, повернув к ней худое, костлявое, небритое лицо, слегка улыбающееся, довольное. Пожалуй, он чувствует себя здесь счастливее, чем в Германии; здесь меньше суетни, больше времени для настоящей работы, для музыки. Она понимает это прекрасно, она верит в его музыку и убеждена, что нужно делать то, к чему ты призван, пусть это материально и не оправдывается. Но все же какая обида, что этот талантливый человек, ее Зепп, по-видимому, обречен теперь работать впустую. В Германии он имел успех даже среди широкой публики; его

¹ Я сыт этим по горло (англ.).

«Оды Горация» исполнялись во всех концертных залах. Там резко нападали на «большевика от культуры», но у него было несколько фанатичных почитателей, в их числе и очень влиятельные люди, например дирижер Риман. В Германии «Персы» пошли бы в отличном исполнении, возможно в Филармонии. А тут радуйся, если выгорит эта сомнительная радиопередача.

Ей нравится его равнодушие к перемене их положения, но оно не совсем ей понятно. Может быть, все дело в том, что Зепп уже в детстве и юности познал нужду, тогда как она росла легко и привольно. Когда она говорит, что они скатились вниз, он ласково слушает ее, как взрослый ребенка. Неужели он не находит ничего унижительного в том, что он, Зепп Траутвейн, вынужден за ничтожную плату вдавливать слушателям Парижской музыкальной академии правильное немецкое произношение в вокальных партиях с немецким текстом? И что ему приходится считать благодеянием, если маленькая эмигрантская газетка «Парижские новости» заказывает ему статьи, за которые платит по несколько франков?

Все было бы легче, если бы она могла по крайней мере по-прежнему приобщаться к его работе, к его музыкальному творчеству. В Германии он играл ей свои вещи, обсуждал с ней все мельчайшие детали, и хотя у нее нет достаточной подготовки, чтобы все понять, чуть-то у нее есть, она улавливает, чего он добивается, и, конечно, не из простой влюбленности он сотни раз уверял ее, что она его музыкальная совесть. Не всегда критика сходила ей с рук. Он и сам взыскателен к себе, но порою, когда она уж очень допекала его и все выражала недовольство, все придиралась, уверяя, что надо еще доделать то или другое, – так было, например, с «Четырнадцатой одой Горация», – он приходил в бешенство и отчаянно бранился. Но под конец он почти всегда вновь брался, ворча, за работу, и оказывалось, что не напрасно. Хорошие это были часы, когда они работали вместе, испытывая чувство нераздельной близости. Теперь же, вместо того чтобы участвовать в его работе, ей приходится каждый день за ничтожные гроши изводиться у доктора Вольгемута, уговаривать противных, сварливых пациентов, помогать Вольгемуту, осматривать рты с гнилыми зубами, ковыряться в них, и все это с любезной улыбкой. Она считает себя человеком спокойного нрава, но ей непонятно, как может Зепп так невозмутимо мириться с этой жизнью.

В соседней комнате просыпается сын. Анна, раз уж она не спит, могла бы, собственно, тоже встать. Но к Перейро надо прийти свежей, а если не позволишь себе иногда полежать подольше в постели, через два года превратишься в старуху. Нет, лучше уж полежать.

Она слышит, как мальчик – она так же упорно называет Ганса мальчиком, как Зепп называет его мальчуганом, – плещется в маленькой ванной, умывается. Он, конечно, наденет трусы, все его приятели в лицее считают шиком носить трусы, но лучше было бы, если бы он пренебрег этим шиком и надел кальсоны, чтоб не простудиться. Однако она подавляет в себе желание сказать об этом Гансу. Он мальчик разумный, но только станешь его в чем-нибудь убеждать, как он упрется – и ни с места.

Ганс входит в комнату. Лицо у Анны вспыхивает радостью. Он невысокого роста, но широк в плечах и крепок; глубоко сидящие глаза и густые брови – и то и другое от отца – придают его лицу мужественное выражение, не по годам серьезное. Анне немного неловко лежать с Зеппом в кровати в присутствии ее мальчика; ей также неприятно, именно перед ним, что он видит ее седеющие, нечесанные волосы.

У Ганса свежий вид, он выспался. Предложение Зеппа вместе приготовить завтрак он отклоняет добродушно, чуть свысока:

– Брось, Зепп, какая от тебя помощь, ты только мешаешь.

Отец обращается с ним как со взрослым и разрешает называть себя Зеппом.

Во время завтрака идет оживленный разговор о горестях и радостях лицейской жизни. Больше всего отравляет жизнь юным эмигрантам, посещающим французские школы, незнание языка. Ганс одолел это препятствие быстрее других, и хотя иной раз ему еще дают почувствовать, что он иностранец, бош, но все-таки он освоился в лицее скорее, чем ожидал. Он уже

многое наверстал, и если раньше ему приходилось сидеть на одной скамье с французскими ребятами на два года моложе себя, то теперь он уже скоро, возможно к восемнадцати годам, сможет сдать экзамен на бакалавра. Вокруг подготовки на звание бакалавра – «башо», как здесь говорят, – вокруг планов Ганса и вертится разговор за завтраком.

Время проходит быстрее, чем хотелось бы Анне. Она огорчена, когда Ганс поднимает глаза на часы. Это красивые, небольшие стенные часы из ценного дерева, украшение всей квартиры. Она подарила их как-то Зеппу к дню рождения, и Зеппу они нравятся; они очень простой формы, и их негромкое тиканье бодрит его. Часы принадлежат к тем немногим вещам, которые они спасли, которые им удалось вывезти из Германии.

Да, пора, Гансу нужно идти. Он берет свой портфель.

– Кстати, мама, ты заметила, что я заделал окно? Теперь уж наверняка дуть не будет. – Его угнетает, что он, чрезвычайно занятый школой и другими важными для него делами, не имеет возможности, хотя ему почти восемнадцать лет, заработать для семьи несколько су. К счастью, у него ловкие руки и хотя бы в хозяйственных мелочах он может помочь своим.

Пока Ганс не ушел, пока он болтает, невзрачная комната наполнена жизнерадостным светом его восемнадцати лет. Но едва мальчик исчезает за дверью, как сотни будничных мелочей с новой силой обрушиваются на Анну. На столе – остатки еды и грязная посуда; Анна, всегда такая аккуратная, не притрагивается к ней. Молоко не допито; надо надеяться, что мадам Шэ, их приходящая прислуга, не сделает обычной глупости и не нальет свежее молоко во вчерашнее. Анна уже несколько раз говорила ей об этом; но Шэ молода, у нее в голове одни только мужчины, она безалаберна, вечно повторяет все те же глупости. А у Анны нет времени поискать замену мадам Шэ и расстаться с ней.

Гнусно, что приходится забивать себе голову такими мелочами, вместо того чтобы интересоваться музыкой Зеппа. Анна лежит с закрытыми глазами, можно подумать, что она мирно спит. Но в голове у нее роятся мрачные мысли. Ее гложет, что юность мальчика проходит в такой жалкой обстановке, что он видит ее в постели с Зеппом, что волосы у нее не покрашены. Покрасить волосы – это тридцать франков. Что такое тридцать франков? Пустяки. Но теперь приходится думать о том, что на тридцать франков можно купить пять кило рыбы, или два кило масла, или шестнадцать кило хлеба; хорошая комната стоит в день тридцать франков, на эти деньги можно сделать сорок концов в метро или три раза сходить в кино.

Анна, правда, примирилась с тем, что теперь все не так, как было раньше, она в состоянии, и даже нередко, смеяться весело и от души, она и не думает унывать. Но у нее невольно вырывается вздох, когда она вспоминает, что Зепп в Мюнхене зарабатывал эти самые тридцать франков в пятнадцать минут. Теперь ей приходится за тридцать франков работать почти целый день и затем два дня высчитывать, как и на чем сэкономить, чтобы покрасить волосы.

Зепп обо всем этом не тужит. Сотни мелких тревог не терзают его целыми днями, не мешают спать по ночам, они над ним не властны. Его не интересует, что для мира он уже никто; внутренне Зепп – все тот же. Нынче, через два года после переворота, он окончательно забыл, какую роль играл в музыкальной жизни Германии. Она не плачет о прошлом, нет так нет, что миновало, то миновало, но и не строит себе никаких иллюзий. У Зеппа есть музыка, он пишет ее для себя и для нее, а там – работаешь и кое-как перебиваешься. А что до признания, которого Зепп добился на родине, то оно было и сплыло, и здесь, в Париже, оно ему ни на йоту не помогает заработать кусок хлеба.

И все же Зепп был прав, бросив службу тотчас же после прихода Гитлера к власти. Не через день, так через два его все равно выжили бы. И то, что он уехал за границу, было правильно и хорошо. Человек, который и раньше едва переносил все сгушавшуюся атмосферу реакции, вряд ли мог бы жить в стране, где хозяйничают гитлеры. Она с теплым чувством вспоминает, как решительно этот обычно неповоротливый человек все бросил, какое желчное

письмо о своем уходе написал министру просвещения. Да и она тогда ни секунды не колебалась и одобрила его решение.

Она и раньше говорила себе, что изгнание – это не краткий эпизод, проникнутый героизмом и пафосом, а долгие, медленно ползущие годы, наполненные мелкими неприятностями. Но к этому присоединились тысячи мытарств, о которых они в Германии и представления не имели. Сколько хлопот хотя бы с такой идиотской штукой, как удостоверение личности. Сроки их паспортов истекли, а «третья империя» не возобновляет их. Сколько беготни, пока раздобудешь бумажку, на которой подтверждено и скреплено печатью, кто ты есть. Сколько часов надо простаивать у окошек, за которыми сидят брюзгливые, усталые чиновники, и мсье Дюпон отсылает тебя к мсье Дюрану, а мсье Дюран, оказывается, тут ни при чем и отсылает тебя к мсье Дюпону, и вся история начинается сызнова, а в результате обнаруживается, что дело твое в совершенно другом ведомстве. Получить постоянное разрешение на право работы почти невозможно; Анна работает у своего зубного врача без разрешения, «зайцем».

Пока они были в Германии, они и не знали, как хорошо им живется в их удобной квартире, как хорошо располагать солидным текущим счетом. Анна привыкла сводить абстрактные философские истины к простым формулам; пессимизм индийцев или Шопенгауэра, над которым долго бился Зепп и о котором он много рассказывал Анне, для нее укладывался в простую истину, что, если у тебя болит палец, ты страдаешь, но, если палец не болит, ты не испытываешь от этого радости. Этот лишенный всякой сентиментальности пессимизм теперь находил свое подтверждение в действительности. Прежде, в Германии, ей казалось естественным жить в довольстве, в изобилии. Теперь она не плачется на перемену, но ощущает ее на каждом шагу.

За дверью что-то царапается и шуршит, почтальон просовывает в щель письма. Траутвейн тотчас же бросается к ним, вскрывает их, читает – с многочисленными «гм» и «ага». Почта довольно обильная, но Анна знает, что только очень небольшая часть писем имеет личное отношение к Зеппу, все остальное – приглашения на политические собрания, просьбы о деньгах, о рекомендациях, эмигрантские дела. Как ни плохо тебе живется, а всегда найдутся люди, которые считают тебя богатым и счастливым.

Он весь уходит в чтение писем; о присутствии Анны он совершенно забыл. Дочитав письма, берется за газеты. Каждое утро эту страстную натуру волнует и забавляет глупость мира, выпирающая из газетных сообщений. Вот он опять что-то выудил. Он прищелкивает языком.

– Нет, ты только посмотри, Анна! – У него звонкий голос, а от радости он переходит на фальцет. – Уж это – дальше некуда! – Он протягивает ей «Берлинер иллюстрирте», показывая снимок на титульном листе: властители «третьей империи» слушают концерт. Музыка обезоружила их, лица у них пустые, тупые, сентиментальные. Великолепный снимок, он обнаруживает все существо этих людей; музыка обнажила их, все их жалкое нутро вывернуто наружу. Анна невольно смеется, смеется по-детски заразительно. Ее широкое лицо с крупными белыми зубами сияет. Когда Анна смеется, оно молодеет.

– Они могут обзаводиться какими угодно титулами, а физиономии у них все те же, – замечает она.

Зепп Траутвейн продолжает ликующе:

– Им ничего не поможет, волей-неволей они сами выставляют напоказ свой позор. Этот снимок надо распространять, о нем надо писать. Я напишу, – решает он, загораясь, как юноша, весь – рвение и пыл. – Скажи-ка, – он уже готов приступить, – ты свободна? Можно продиктовать тебе статью?

Беда с этим Зеппом. Он опять забыл, что она, к сожалению, занята у доктора Вольгемута. А потом еще визит к Перейро, нельзя недооценивать этого дела насчет радиопередачи.

– С величайшим удовольствием отстучала бы тебе статью, – говорит она огорченно. – Мы, конечно, опять поругались бы. И все равно самые убийственные грубости я у тебя повычер-

кивала бы. Но Вольгемут, Перейро... – Она пожимает плечами, ее выразительное лицо живо отражает сожаление.

Он спохватывается.

– Ну конечно, ведь у тебя сегодня еще и визит к Перейро. Бессовестно, что я забыл, – горячо говорит он. Но в следующую минуту уже думает о другом. – Замечательная будет статья, – радуется он заранее.

Анна критически оглядывает пишущую машинку. Валик стерся, необходимо его заменить, да и еще кое-что не мешало бы исправить. Тут не только расходы: трудно обойтись без машинки, пока ее будут чинить.

Он тем временем встает и идет в ванную умыться и побриться. Бриться он не любит, Анна с трудом добилась, чтобы он брился каждый день. Вот и сейчас он охает. Оптимист и сангвиник, он, конечно, прежде всего бреет удобную поверхность щек. Затем остается самое трудное – углы рта. Надо сжать челюсти, запрокинуть голову и глядеть в оба.

– Чертов хлам, – ругает он бритву, так как без маленького пореза дело не обходится. Но в следующее мгновение, обтирая лицо, он снова с удовольствием думает о предстоящей работе. – У меня уже руки чешутся, – кричит он, довольный, из ванной. – Новая идея для «Персов»; придется переписать пятнадцать страниц партитуры. До редакции я успею набросать, пока это свежо, самое основное. А статью продиктую там. Она еще поспеет в набор.

Анна слушает его, она гордится, что он так добросовестно работает, не позволяет себе ни малейшей небрежности, опять и опять начинает сызнова, если может хоть на волос приблизиться к цели, которую себе ставит. И вместе с тем она понимает, что практически его работа бессмысленна.

Выиграют или проиграют от переделки эти пятнадцать страниц партитуры, кому какое дело? Если с радиопередачей не выйдет, то, кроме Анны, эти несколько исправленных страниц услышат, может быть, еще три или четыре приятеля. Что за проклятая судьба, обрекающая такого одаренного человека, как ее Зепп, работать впустую! И статья насчет физиономий, которую Зепп собирается написать для «Новостей», ему, наверное, удастся, это будет хлесткая, остроумная статья, достойная, чтобы ее прочли во всем мире, но при нынешних условиях в лучшем случае две-три тысячи читателей полминуты порадуются, что кто-то поддел берлинскую сволочь, – вот и все. Сознает ли это Зепп? Если даже и сознает, это его мало трогает. Он окрылен. Он работает так, как будто его «Персы» уже в этом году пойдут в Филармонии, а статья появится по крайней мере в «Таймсе».

Вот он выходит из ванной. Длинный и широкий халат висит на худощавой, высокой фигуре Зеппа, он очень ему идет. Когда-то халат этот был элегантен, теперь он сильно поношен. Зеппу давно следовало бы купить новый, думает Анна, но, даже когда были деньги, трудно было заставить его прилично одеться; теперь же безденежье служит ему удобным предлогом не обращать внимания на свою внешность.

Он уютно усаживается в старое распатанное клеенчатое кресло, снова берется за газеты, вытягивает ноги. Она смотрит на него. Десять минут она может еще полежать, потом начнется ее день, неприятный день, суетливый, напряженный. Эти десять минут она еще насладится покоем. Она потягивается, нежится в тепле постели, молчит. Да, как подумаешь о других, так тебе живется еще сравнительно хорошо. Чего не дала бы, например, ее приятельница Элли Френкель за то, чтобы иметь возможность поваляться так в постели, зная, что она обеспечена на несколько недель вперед. В Берлине, до переворота, Элли на руках носили, а теперь она бьется как рыба об лед, только бы не умереть с голоду. Сколько жалких, напрасных усилий она прилагала, стараясь скрыть свое положение у Гиршбергов, и все-таки все знали, что она там не больше чем прислуга. А теперь она была бы довольна и этим. Надо как-нибудь опять встретиться с Элли.

Зепп Траутвейн между тем читает газеты, позабыв все на свете; он поджал длинные губы, и стянутый рот придает ему озабоченный и чуть-чуть смешной вид. Выражение его лица быстро меняется, отражая целую гамму ощущений. Он то ворчит про себя, то издает какое-то короткое рычание, то покачивает головой.

– Идиоты! – Затем опять чему-то кивает и говорит убежденно: – Великолепно! – Вдруг он прерывает себя, лицо его озаряется, угловатой неловкой походкой идет он к письменному столу и, насвистывая, усиленно качая в такт головой, записывает какую-то мысль, которая только что пришла ему в голову.

Анна, вздыхая, подымается с постели. Приводит в порядок обе комнаты. Потом идет в маленькую, очень узкую ванную; ванная служит ей и кухней, это неудобно и неаппетитно, но что поделаешь? Анна накладывает румяна и пудрится, молча, тщательно. Отражение в зеркале мутное и нечеткое, зеркало плохо освещено, но достаточно хорошо видно, что черты лица у нее расплылись, глаза потускнели. Будь она господин Перейро, ей эта Анна не понравилась бы. Правда, никогда нельзя знать, на что реагирует мужчина. Когда она хорошо настроена, когда она смеется, показывая свои красивые, крупные белые зубы, то производит впечатление еще совсем молодой.

Анна готова, надевает пальто. Она стоит – стройная, чуть-чуть пополневшая, но еще такая яркая, такая представительная; нужен наметанный женский глаз, чтобы увидеть, каких стараний стоило прикрыть места, где вытерся мех на шубе.

– Надо заранее приготовить нотный материал, на случай если состоится радиопередача, – говорит она. – Иначе в последнюю минуту из-за такого пустяка все может провалиться.

Он с трудом отрывается от своих мыслей, бормочет что-то вроде «гм» и «ну, конечно, как знаешь». Но она настаивает.

– Это обойдется довольно дорого, – деловито добавляет она.

– Я подумаю, – говорит он со скукой в голосе, чуть ворчливо. Тогда она решительно заявляет:

– Лучше уж я поговорю с мсье Перейро. Для него это пустяк.

Зеппу неприятно.

– Стоит ли этого вся затея? – говорит он нерешительно.

– Да, стоит, – твердо заключает она.

Она поворачивается, собираясь уходить. Но тут он поднимается и, должно быть, только теперь видит ее по-настоящему.

– Ты великолепна, – восхищается он, искренне любясь ею. – И как только ты ухитряешься, не понимаю. Смотри, не очень надрывайся, старушка, – советует он ей сердечно, с выражением дружеской заботы на худощавом лице. Он называет ее «старушкой», произнося всю фразу на баварском диалекте, отчего она звучит как интимная ласка, и, улыбаясь, прибавляет: – Мне не следовало этого говорить, но, право, если ничего не выйдет с дурацким радио, особенно горевать не буду. Значит, до свиданья, старушка, желаю успеха. И кланяйся Перейро, но только в том случае, если он твердо скажет «да».

С ее уходом он почувствовал себя особенно славно. Он привязан к Анне. Когда ее нет дома, он очень скоро начинает ощущать ее отсутствие; с теплым чувством думает он о том, как часто она была ему опорой в хорошие и плохие времена, вспоминает о бесчисленных часах общей работы и общих радостей. Но когда живешь втроем в двух комнатныхшках, когда день и ночь сидишь друг у друга на голове, то совсем не худо иногда побыть одному. Он стремительно шагает назад и вперед, это нелегко в тесно заставленной комнате, но он лавирует между вещами. Он всецело поглощен своими мыслями, шум за стеной и на улице несколько ему не мешает.

Благословенное утро сегодня, он на целых два часа предоставлен самому себе. Не такое уж расточительство, если он позволит себе побездельничать и немного поразмыслить. Время

от времени ему это необходимо, это действует на него благотворно, иначе невозможно было бы жить.

Он садится в расшатанное клеенчатое кресло, сидит в неудобной позе, но ему удобно. Тихо тикают часы, красивые часы, которые удалось вывезти из Германии; минуты бегут, а он размышляет. Время от времени необходимо произвести внутреннюю инвентаризацию. Без всякого педантизма, конечно, ни-ни, без точных формулировок. Но все же у него есть своего рода мерило: он пытается отдать себе отчет в том, вырос ли он как художник за эти два года жизни в изгнании.

Анна иногда утверждает, что, по-видимому, «Персы» теперь еще дальше от завершения, чем два года назад, и до известной степени она права. И все же он шагнул вперед. Он стал еще строже к себе, он почти так же строг, как Анна; он работает еще медленнее, но лучше, правильнее. Честно испытывая себя, он может сказать, что ни на волос не заботится о внешнем впечатлении, что творит не ради успеха, а ради самого творения.

Он посмеивается над Анной, над ее хлопотливостью, ее энергичными усилиями добиться исполнения «Персов» по радио. Она ведь знает, что может дать такая радиопередача. То, чего он добивается, можно выжать даже из хорошего оркестра лишь после многих репетиций. Как же он вырвет желанное у равнодушных оркестрантов при двух-трех наспех проведенных репетициях? Если бы ему и удалось добиться приличного исполнения, слушатели не готовы к восприятию его музыки. Их уши и сердца закупорены салом и грязью дешевых, вульгарных, сентиментальных и трескучих мелодий. Напрасный труд. Из десяти слушателей восемь воспримут его музыку как кошачий концерт, один вежливо попытается что-то понять, и лишь один, может быть, действительно поймет.

Зепп Траутвейн сидит в своем продавленном кресле. Неплохо было бы со стороны послушать собственную музыку. Но внутренним слухом он слышит ее – это не воображение, это так и есть. Мелодия, которую он нашел сегодня утром, звучит в нем. Он слышит стихи Эсхила и их музыку, слышит громкий грозный боевой клич греков, которые приканчивают барахтающихся в море персов, слышит горестные вопли тонущих, их «ай-ай» и «у-лу-лу», весь этот экзотический разноголосый вой, он не работает, и все же звуки с невероятной интенсивностью струятся вокруг него, в нем. Он сидит с невидящим взглядом, с отсутствующим выражением лица и, слушая тихое тиканье стенных часов, напряженно вслушивается в себя, в этот внутренний поток.

Нехотя, с коротким вздохом, он встает, садится за письменный стол, работает методически, упорно, сосредоточенно, для того чтобы втиснуть свои неподатливые фантазии в проклятые пятилинейные строчки нотной бумаги.

2

«Парижские новости»

За удачным утром следует удачный день.

В редакции «Новостей» Зепп Траутвейн, невзирая на ворчание коллег, получает в свое распоряжение Эрну Редлих, машинистку и секретаршу, с которой он охотнее всего работает. Он в ударе, к тому же статья о физиономиях правителей «третьей империи», слушающих музыку, открывает перед ним возможность говорить о вещах, больше всего волнующих его, — о музыке и политике. В статье есть та хлесткость, та крепкая мюнхенская терпкость, которую он хотел придать ей.

Но в редакции довольно много срочного материала, сомнительно, что статью дадут в очередной номер, если Траутвейн не нажмет. Своей неловкой походкой, носками внутрь, он проходит в кабинет к Францу Гейльбруну, главному редактору.

Достаточно закрыть за собой большую, обитую войлоком дверь, отделяющую голые редакционные комнаты от кабинета Гейльбруна, чтобы очутиться в совершенно другом, прежнем мире. В Берлине Гейльбрун, главный редактор «Прейсише пост», наиболее видной столичной газеты, пользовался большим влиянием; когда он там держал себя вельможей, его величественные слова и жесты соответствовали его положению. Здесь же, в редакции «Парижских новостей», или «ПН», как их повсюду называли, жесты эти производили скорее смехотворное впечатление. Но, прекрасно сознавая это, Гейльбрун не мог отделаться от повадок вельможи — он был король в изгнании, и Траутвейн с присущей баварцу живостью воображения мысленно сравнивал барственный, величавый стиль Гейльбруна с непомерно широким костюмом на сильно похудевшем человеке. Вот и сегодня Траутвейн, улыбаясь про себя иронически и добродушно, дивится тому, как Гейльбрун сумел превратить большое неприветливое канцелярское помещение в место, где можно «принимать», и, при всем убожестве комнаты, придать ей особый отпечаток какой-то легкой, изящной жизни. Тут были и дорогой ковер, правда очень миниатюрных размеров, и удобная софа, и внушительный письменный стол хорошего дерева; повсюду лежали сигареты, несмотря на опасность, что кто-либо из голодной публики стянет их.

При входе Траутвейна главный редактор Гейльбрун не вынимает сигары из большого чувственного рта. Но Траутвейн не обращает на это внимания; у него с Гейльбруном хорошие отношения, их объединяет общность политических взглядов, оба они отличаются терпимостью и в то же время горячностью. Впрочем, Франц Гейльбрун, как это с ним часто бывает, не выпался. Ему шестьдесят лет, он работает с удовольствием, но и живет он в свое удовольствие, ему не хватает дня и особенно ночи.

— Ну, милый мой, — встречает он Траутвейна, — что вы нам хорошего принесли? — И широким жестом указывает Траутвейну на удобное кресло для посетителей. Траутвейн протягивает ему рукопись, Гейльбрун читает, усмехается. — Хорошо, крепко, терпко, по-баварски, — говорит он. — Многовато только у вас «задниц», «пачкунов» и прочего. Хорошо бы вычеркнуть несколько штук, тогда выиграют те, что останутся.

— Ладно, — миролюбиво говорит Траутвейн. — Сейчас вычеркну и сдам в набор на тот случай, если статья пойдет в следующем номере.

— Конечно пойдет, — отвечает Гейльбрун.

— Ведь есть срочный материал, — благородно замечает Траутвейн.

— Хорошая статья — всегда срочный материал, — говорит Гейльбрун. — К сожалению или к счастью, как вам угодно, здесь у нас нет такой нужды в злободневном материале, как в Берлине.

Пока Гейльбрун читал статью и пока велась эта короткая беседа, он казался оживленным; сейчас он снова размяк, и его большая квадратная голова с седыми, коротко стриженными жесткими волосами никнет от усталости.

Траутвейн простился и уже собирался уходить, когда вошел Гингольд, издатель.

– А, наш дорогой сотрудник, – с деланой любезностью сказал господин Гингольд и протянул Траутвейну руку, плотно прижимая локоть к туловищу.

– «Дорогой»? – откликнулся Траутвейн. – Это при ваших-то гонорах?

Он неохотно говорил о денежных делах, но Гингольд с его фальшиво-любезной улыбочкой, гнилыми зубами и тихими, кошачьими ужимками принадлежал к числу тех немногих людей, к которым он питал открытую антипатию. Жесткое, сухое лицо Гингольда, четырехугольная, черная с проседью борода, маленькие глазки, пристально глядящие из-под очков, подчеркнуто старомодный костюм, длинный сюртук и башмаки с ушками – все в этом человеке раздражало обычно терпимого Траутвейна.

– Повысить гонорар – моя мечта с тех пор, как я основал эту газету, – ответил Гингольд, улыбаясь еще шире и стараясь придать своему скрипучему голосу мягкий, ласковый оттенок; его трескотня, его интонации раздражали музыкального Траутвейна. Наглое утверждение Гингольда, что он основал газету, тоже злило Траутвейна; ведь всему свету известно, что «Новости» – целиком дело рук Гейльбруна, начиная с самой мысли создать газету и кончая ее осуществлением. Гингольд лишь финансировал это предприятие, да и то на условиях жестокой эксплуатации. Траутвейна удивило, что Гейльбрун пропустил мимо ушей слова Гингольда.

– Но, – продолжал Гингольд, – вы сами знаете, сколько всяких затруднений встречает вопрос о повышении гонорара. – И он пустился в пространные объяснения по поводу того, что вынужден опять сократить гонорарную сумму на фельетоны; с этим, мол, он и пришел к Гейльбруну.

Гейльбрун не ответил – возможно, что в присутствии Траутвейна он не хотел доводить дело до спора, – и Гингольд не стал настаивать; он без стеснения взял из рук Траутвейна его рукопись.

– Статья для нас, как я понимаю, – сказал он. – Я вижу это по шрифту, – пояснил он. – Напечатано на нашей машинке. – Он кисло улыбнулся: он не любил, чтобы внештатные сотрудники обращались к его машинисткам. Если бы он сказал какую-нибудь резкость, Траутвейн не остался бы в долгу. Но Гингольд понял это и благоразумно воздержался от дальнейших колкостей. Статья так и осталась у него в руках. Точно жадные крысы, забежали по строчкам жесткие глаза Гингольда, вгрызлись в одно место, побежали дальше, вгрызлись в другое. Все молчали. Наконец он дочитал.

– Очень хорошо, – заключил он. – Очень хорошо сказано. – И он рассыпался в плоских похвалах. – Но, – продолжал он, и в его скрипучем голосе вопреки его желанию появились властные нотки, – я бы вам посоветовал: вычеркните кое-какие грубоности, – и, водя по строчкам несгибающимся пальцем, он прочитал вслух то, что ему не понравилось. В его устах это прозвучало действительно скабрёзно, плоско. – Вы пользуетесь этими крепкими словами для характеристики человека, который юридически все же является главой государства, – пояснил он. – Нас не очень-то любят, и могут выйти всякие неприятности. Но все эти места и сами по себе не очень хороши; по моему скромному мнению, они недостойны вас, дорогой Траутвейн. И моим читателям они тоже не понравятся.

Траутвейну они и самому уже не нравились, но комментарии Гингольда и это наглое «моим читателям» вывели его из себя.

– Благодарю за поучение, – запальчиво сказал он своим звонким голосом. – Но я просил бы предоставить мне самому выбирать литературную форму для своих работ.

– Мы с Траутвейном уже раньше пришли к соглашению, что кое-какие «задницы» и «пачкуны» будут вычеркнуты, – примирительно сказал Гейльбрун.

– Я не хотел вас обидеть, – мгновенно переменял тон Гингольд, испуганный вспыльчивостью Траутвейна. – Наш всегдашний *enfant terrible*², – прибавил он, пытаясь изобразить на своем лице сочувственную, успокаивающую улыбку. Но взгляд, каким он проводил Траутвейна, когда тот пошел к двери, был отнюдь не любезным.

Траутвейн досадовал на себя. Следует лучше владеть собой, не так вызывающе держать себя с Гингольдом. Анна, безусловно, осталась бы им недовольна и была бы вполне права. Заниматься политикой, открыто высказывать свое мнение, писать о том, что накопело, – все это очень хорошо. Но к сожалению, при этом приходится иметь дело с малоприятными личностями. «Я покинул Германию, чтобы не плясать под дудку Гитлера. Не для того ли, чтобы теперь плясать под дудку господина Гингольда?»

Он собрался уже покинуть редакцию и пошел к выходу, раздраженно и рассеянно глядя перед собой.

– Алло, Зепп, – вывел его из задумчивости чей-то голос. – Куда? Обедать? Пойдемте вместе. – Траутвейн колебался. Очень кстати было бы в беседе смыть накопившую досаду, а живой, блестящий Фридрих Беньямин был для этого самым подходящим партнером; но Анна ждала его к обеду, и он боялся истратить лишние деньги в ресторане. А Фридрих Беньямин настаивал: – Пойдемте. Мне все равно надо поговорить с вами. У меня есть к вам товарищеская просьба. И не разводите церемоний, Зепп. Само собой, вы мой гость.

Траутвейн уступил, позвонил в гостиницу «Аранхуэс», что не будет к обеду, пошел с Беньямином.

Тот повел его в фешенебельный, несомненно, дорогой ресторан «Серебряный петух», куда Траутвейн сам никогда не решился бы пойти. Беньямин выбирал блюда обстоятельно, со знанием дела, осведомлялся у Зеппа, чего тот хочет, упрекая его, что он уделяет недостаточно внимания еде. Траутвейн ел, по обыкновению, рассеянно; он привык к тому, что жена как-то кормила его на те скудные средства, которыми они располагали. Единственное, чего ему хотелось, чего ему здесь, в Париже, не хватало, – это некоторых сытных баварских блюд. Он предпочел бы сидеть с Рихардом Штраусом у «Францисканца», запивая «мартовским» пивом вареные или жареные сосиски, вместо того чтобы в обществе Фридриха Беньямина лакомиться устрицами и шабли во французском кабаке. Но с «Францисканцем» и Рихардом Штраусом покончено. Звезд с неба он не хватает, наш Рихард Штраус, – разумеется, это не относится к его музыке, иначе он не остался бы у нацистов, а был бы, вероятно, здесь.

Беседа с Беньямином, несомненно, обогащает. Пусть Фридрих Беньямин всего лишь журналист. Но какой журналист. Чего он только не знает. Как логичны его выводы, как блестяще умеет он подать великое и малое так, что все предстанет в новом свете. Зепп Траутвейн перечисляет про себя достоинства Беньямина, как он это часто делает, стараясь отдать ему должное; ибо, по существу, Беньямин ему неприятен. Слишком уж он высокого мнения о себе и своей работе. И Зепп Траутвейн, выкладывая, по обыкновению, все, что у него на душе, в десятый раз повторяет ему, что «все мы» преувеличенного мнения о своей особе. Ведь пишем мы или не пишем – какое влияние это оказывает на политические события?

Пока Траутвейн излагал все это весьма обстоятельно и по свойству своего сангвинического темперамента громко, с мюнхенскими интонациями, так что сидевшие вокруг французы оборачивались, Фридрих Беньямин сидел против него, ел. Он ел медленно, со вкусом, и время от времени пил маленькими глотками. Иногда он бросал что-нибудь в таком роде:

– Ешьте, Траутвейн. Жаль, ведь рыба у вас остывает.

Он не перебивал Зеппа. Лишь изредка, когда тот отпускал какое-нибудь особенно крепкое словцо, он вскидывал свои красивые карие выпуклые глаза, резко выделявшиеся на умном лице. Когда Траутвейн смотрел в эти глаза, светившиеся над большим изогнутым носом,

² Озорник (*фр.*).

словно готовые выпрыгнуть, грустные, немного клоунские и в то же время неистовые, полные фанатического огня, он испытывал какую-то тягостную неловкость и силился не потерять нить мыслей.

Наконец он умолк. Бенъямин спросил:

– Вы кончили? – И в ответ на утвердительный кивок Траутвейна сказал: – Прекрасно, в таком случае доешьте прежде всего свою рыбу.

Бенъямин умел быть злым, он умел издевательски-логично доказать, на какой зыбкой почве строится ныне всякая вера и надежда, но при всем том обладал обаянием и юмором, а усердие, с каким он расхваливал своему гостю различные блюда, говорило о его врожденном радушии.

На протяжении всего обеда он ни разу не ответил на нападки Траутвейна. Лишь за кофе, видимо вместо ответа, неожиданно спросил:

– Вы читали сегодня мою статью о двух женщинах, которым Гитлер приказал отрубить головы?

– Да, – сказал Траутвейн.

Это была одна из лучших статей, когда-либо написанных Бенъямином. И хотя Траутвейн не любил эффектов, к каким прибегал Бенъямин, статья взволновала его. Бенъямин прежде всего логически доказал, что обе женщины казнены исключительно потому, что слишком много знали о резне, устроенной Гитлером тридцатого июня. Затем дал потрясающее описание самой этой зверской расправы.

Читатель видел перед собой обеих женщин как живых; перед ним ясно вставала картина, как их тащат связанных к плахе, словно во времена Средневековья; он видел палача, топор, затылки женщин, заботливо подготовленные к принятию удара. Траутвейн, как профессионал, оценил деталь, приведенную в этом месте Бенъямином: женщинам с немецкой основательностью выбрали затылки. И еще многое ему запомнилось. Например, описание лица диктатора, когда тот отклоняет прошение о помиловании и подписывает приговор своим корявым почерком, почерком невежды. Траутвейн мог поэтому, не кривя душой, со знанием дела, похвалить статью Бенъямина.

Бенъямин, слушая, смотрел на него в упор фанатическим, сосредоточенным и в то же время отсутствующим взглядом. Он маленькими глотками прихлебывал кофе, и в эту минуту его круглое, пухлое, неприятно улыбающееся лицо особенно напоминало грустную клоунскую маску.

– Спасибо на добром слове, коллега, – сказал он с шутовским поклоном, когда Траутвейн кончил. – Всегда приятно выслушать похвалу, но я спросил не с этой целью. Мне просто хотелось проверить, доходит ли то, что я хотел вложить в свою статью. Я вижу, что доходит, значит она удалась. Позвольте же мне, – продолжал он, подняв в знак протеста небольшую волосатую руку, так как Траутвейн собирался возразить, – повторить в применении к этой статье все то, о чем вы говорили в начале нашего завтрака. Вы совершенно правы. Что достигнуто этой удачной статьей? Ничего не достигнуто. Двух женщин нет в живых, их тела вскрыты, отрубленные головы давно искромсаны прозекторами. На одно мгновение мир содрогнулся и плюнул от отвращения. Но сейчас, спустя десять дней, эта гнусность уже забыта, и моя статья бессильна что-нибудь изменить. Я иду еще дальше, чем вы. Пусть бы сегодня явился в наш мир Шекспир или Данте и написал пламеннейшие стихи о варварстве нацистов, пусть бы какой-нибудь Свифт или Вольтер в злейшей сатире высмеял отсутствие у них ума и вкуса, пусть бы Виктор Гюго писал об этом вдохновеннейшие статьи – все равно ничто не изменилось бы. Спустя две недели зверская казнь двух женщин стала бы достоянием прошлого, забылась бы так, как будто со времени ее прошли тысячелетия. На что же могу рассчитывать я, маленький Фридрих Бенъямин, с моими, с позволения сказать, «Новостями» и моим вечным пером? Ведь вы это хотели сказать, милейший мой Траутвейн? Или я вас неправильно понял?

Траутвейн был поражен. Беньямин действительно выразил его мысль, и выразил много лучше и острее, чем он это сделал бы сам, с циничной покорностью человека, знающего, что он только Дон Кихот. Траутвейн почувствовал к нему уважение, и вместе с тем в нем шевельнулось сознание какой-то вины. По-видимому, в нем, Траутвейне, говорило высокомерие художника. Художник имеет право – таков был тайный смысл его слов – работать даже тогда, когда он не ставит перед собой конкретной Цели, работать для того, чтобы выразить свое «я» в искусстве и сделать его достоянием всех, и это сообщает его работе смысл; а деятельность журналиста получает смысл только в тех случаях, если она преследует определенные, достижимые цели. Этот Фридрих Беньямин, оказывается, знал не хуже, чем он, насколько в самом лучшем случае ничтожны результаты его работы, и то, что, зная это, он все же продолжал работать, сообщало ему достоинство, значительность. Он, Траутвейн, следовательно, несправедлив по отношению к нему. Ему стало стыдно.

– В Берлине, – размышлял вслух Беньямин, – наши иллюзии имели под собой более твердую почву. Мы могли наблюдать хотя бы некоторое действие своих статей. Их цитировали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Вносились интерpellации, поднимался шум. Можно было вообразить, что твои выступления вызовут какие-то перемены. А теперь мы пишем в пустоту. Те, кто нас читает, согласны с нами заранее, а до тех, кто колеблется или вовсе не имеет своего мнения, наше слово не доходит.

Красивыми грустными глазами он смотрел то прямо перед собой, то в лицо Траутвейну, то куда-то в зал.

«Чего ради он сидит в этом дорогом ресторане? – подумал Траутвейн, и мимолетное чувство стыда снова сменилось неприязнью. – Ему за этот кутеж придется уплатить по меньшей мере франков восемьдесят. Он из мещанской еврейской семьи, откуда-нибудь с Рейна или Майна. И верно, из кожи лезет вон, не спит ночей, чтобы иметь возможность вести такую жизнь. Можно пообедать и за восемь франков, а есть эмигранты, которые довольны, когда у них есть на обед два франка. Зачем же Фридриху Беньямину выбрасывать на ветер восемьдесят франков?»

На лице Беньямина блеснула улыбка. Траутвейн знал ее. Иногда, неожиданно, она появлялась на этом лице, мудрая, покорная, грустная, в сокровенной глубине своей ироническая, озаряющая мир и Фридриха Беньямина, как солнце озаряет лужу, расцветивая ее всеми цветами радуги. Итак, Фридрих Беньямин улыбнулся, поднял рюмку с коньяком и, задумчиво разглядывая ее, сказал:

– Было бы, конечно, глупо, если бы я возомнил или попытался внушить вам, будто я пишу потому, что надеюсь этим содействовать изменению мирового порядка. Я не надеюсь. И пишу не потому. – Он выпил коньяк и сказал тихо, но выразительно: – Я одержимый журналист, вот и все. Я не могу молчать, я должен высказаться, хотя бы это не имело никакого смысла и не оказывало никакого влияния. Я хорошо знаю, что спорить бесполезно; тот, кто на нашей планете спорит, восстанавливает против себя все и вся. Кроме того, в нашем многообразном мире это предприятие столь же бессмысленно, сколь безнадежно. И все-таки я хочу спорить, дорогой Зепп, я не могу не спорить. Это для меня важнее, чем есть и пить.

Корректному Траутвейну такое откровенное саморазоблачение было несимпатично, несимпатичен был ему и голос Беньямина, а уж его манера говорить «Зепп» – и подавно. Но против улыбки Беньямина он не мог устоять. Как этот человек видит себя насквозь и как он себя высмеивает – это просто великолепно.

К сожалению, вспышка критического отношения к себе длилась у Беньямина недолго.

– Все же, – продолжал он после короткого молчания, – мне служит утешением мысль, что мою статью прочтут на Кэ д'Орсэ и на Даунинг-стрит и что двадцать экземпляров «ПН» поступают в берлинское министерство пропаганды. Конечно, господин «министр рекламы» далеко не так хорошо разбирается в стилистических тонкостях, как вы, Зепп; но все-таки при-

ятно представить себе его физиономию в те минуты, когда он читает мою статью. – Он говорил тихо, самодовольно, и Траутвейна это раздражало. Сидящий против него человек на самом деле не больше чем заядлый спорщик, а его саморазоблачение – кокетство и кривлянье; он напрашивается на комплименты.

Вести жизнь, о пустоте которой он умеет так хорошо говорить, его заставляет, по общему мнению, Ильза. Что побудило ее, красивую, изящную, богатую Ильзу, выйти замуж за неказистого Фрицхена, не имевшего никакого веса в обществе, не понимает никто. Она странная особа. Изменяет ему направо и налево; Зепп Траутвейн не раз был, к своему огорчению, свидетелем того, как она третирует мужа. Но посмей это сделать кто-нибудь другой, и она готова выцарапать глаза насмешнику. Бенъямину нелегко с ней. Очень может быть, что он предпочел бы жить скромнее, без забот, и прожигать жизнь – для него скорее обязанность, чем удовольствие.

Бенъямин закурил сигару.

– Послушайте, Траутвейн, – он придвинулся ближе, – вот о чем я вас хотел просить. Мне необходимо на несколько дней уехать. Не ради удовольствия. Мне обещают достать настоящий паспорт. А у вас, кстати, бумаги в порядке? – перебил он себя.

– Срок моего германского паспорта скоро истекает, – ответил Траутвейн. – Жена уже предприняла шаги, чтобы достать мне какую-нибудь бумажку. Я предоставляю ей заниматься этими делами, она справляется с ними лучше меня.

– Вам повезло, – вздохнул Бенъямин, – если бы я попросил о чем-нибудь таком мою Ильзу, ничего хорошего не получилось бы. Во всяком случае, удостоверение личности, которым я пользуюсь сейчас, никуда не годится для человека, вынужденного часто разъезжать. А я вынужден много ездить. Иначе я не соберу материала для своей «Трибуны». Будь у меня настоящий паспорт, все было бы проще, я мог бы попытаться поставить как следует журнал и бросить работу в «ПН». Смешно сказать, сколько усилий нужно потратить для того, чтобы какой-то чиновник удостоверил за подписью и печатью, что ты именно тот, кто ты есть. На примере терзаний беспаспортного человека видно, какая пустая болтовня все эти международные совещания, соглашения, Лига Наций и тому подобное. Хоть на стену лезь. Не додумались еще даже до того, чтобы установить единую международную форму удостоверения личности. Сотни людей погибли за последние несколько лет только потому, что им не удалось обзавестись необходимыми документами.

Слова Бенъямина напомнили Траутвейну разговоры о повседневных мелочных заботах, которыми допекала его Анна. Все это отвратительно, что и говорить, но он принял это к сведению как общее положение раз и навсегда, и детали его не интересуют.

– У вас, значит, есть виды на получение настоящего паспорта? – спросил он сухо, рассеянно, пресекая разглагольствования Бенъямина.

– Да, – отвечал тот. – Но для этого мне нужно на несколько дней съездить в Базель. Я уже говорил со стариком об отпуске. Он, конечно, артачится. Но я добился от него обещания, что он отпустит меня, если я найду себе хорошего заместителя. – Он взглянул на Траутвейна, улыбнулся и продолжал скромным и милым тоном, по-товарищески: – Вот я и обращаюсь к вам, Зепп. Окажите мне эту услугу.

Траутвейн испытывал двойственное чувство. Было бы очень приятно заработать несколько лишних сотен франков, хорошо бы вручить Анне эти бумажки. Кроме того, однажды он уже оказал подобную услугу и ему неудобно отказать такому человеку, как Бенъямин, в этом пустяке. С другой стороны, работать в «Парижских новостях» в качестве редактора неприятно, он знает это по собственному опыту, с тех пор как замещал редактора Бергера. Пока ты только сотрудник, ты сам себе хозяин, в качестве же редактора нужно согласовывать свои действия с другими, а с Гингольдом работать нелегко. И «Персов» придется отложить в сторону, а сегодня утром он работал с таким увлечением.

– На сколько же дней вы едете? – спрашивает он, колеблясь.

– Я вернусь через четыре, самое позднее – через пять дней, – живо ответил Беньямин. – Сделайте мне это одолжение. Мы тут с вами здорово ругали нашу работу, называли ее бессмысленной, – добавил он, улыбаясь. – Но когда вы сядете за мой письменный стол, вы увидите, что, в сущности, наши придирки несправедливы, почувствуете резонанс, действие нашей работы. Вы, наверное, уже подметили это, когда замещали Бергера. Условия работы в «Новостях» отвратительны; но какое счастье, что у нас есть этот листок и что мы можем работать в нем.

Он говорил без всякого пафоса, но улыбка и одержимость этого человека произвели впечатление на Траутвейна. Беньямин едет на пять дней, он не подведет.

– Очень сомневаюсь, что Гингольд согласится на такую замену, – привел он еще одно полувозражение, больше для проформы, чем по существу. – Мы с ним никогда не сходимся в мнениях.

– Значит, вы согласны, – радостно установил Беньямин. – Спасибо, Зепп. Я сейчас же позвоню Гингольду.

Траутвейн, оставшись один – Беньямин пошел звонить, – откинулся на спинку стула и непринужденно вытянул ноги. Рассеянно оглядывал он зал, посетителей, официантов. В голове у него звучала мелодия из «Персов», которую он нашел сегодня утром. Собственно говоря, не следовало бы бросать «Персов». Какой неприятный, жирный голос у этого Беньямина. Не говоря уж о внешних побуждениях, большой соблазн поработать несколько дней в «Новостях». Можно многое узнать и кое-что сделать.

Беньямин вернулся.

– Все улажено, – сказал он.

3

Человек едет в спальном вагоне навстречу своей судьбе

В тот же день вечером Фридрих Беньямин стоит у окна спального вагона; он в котелке, во рту у него сигара, на лице легкая, кривая усмешка, не имеющая ничего общего с той улыбкой, которая порой так красит его. Не любит он прощальных сцен. Беспомощно мнется у открытого окна. Прохладный мартовский воздух врывается в вагон.

Беньямин разговаривает с Ильзой, своей женой. Все, кто видят их, удивляются, что этот малосимпатичный мужчина и эта красивая женщина, видимо, муж и жена. У него, вероятно, много денег.

Их у него нет. В сущности, ему следовало бы двадцать раз подумать, прежде чем позволить себе поездку в спальном вагоне. Он не подумал ни одного раза – таков уж он.

Ильза смеется, запрокинув голову. У нее большой рот с красивыми зубами, лицо славянского типа. Она весело болтает, иногда у нее незаметно прорывается саксонский акцент, она говорит всякую ненужную чепуху: чтобы он остерегался простуды, чтобы часто телеграфировал, но только не звонил по телефону, телефонный звонок всегда бывает не вовремя – когда спишь, сидишь в ванне или что-нибудь в этом роде. Он третий или четвертый раз повторяет ей, что вернется в воскресенье вечером или, самое позднее, в понедельник утром. Ему очень хотелось бы подробно посвятить ее в свои планы. Он полон ими, а ей он рассказал о них только в общих чертах, о том, что он намерен встретиться с Дитманом, который обещал достать ему паспорт. Он воздержался от подробных объяснений, он знает, что детали Ильзу не интересуют; самое большее, что может ее интересовать, – это день его возвращения. И так как память у нее слабовата, он с тихой настойчивостью повторяет ей точную дату. Ее день очень заполнен, он знает это; иногда лучше не знать точно, чем он заполнен. Во всяком случае, он неустанно твердит ей, что вернется в Париж тогда-то.

– Ах, голубчики мои, – спохватывается она, заговаривая вдруг с сильным саксонским акцентом, – только теперь я вспомнила, что хотела тебе сказать. В пятницу – премьера с Марлен Дитрих. Ты мог бы и без напоминания позаботиться о билетах. По крайней мере хоть теперь не забудь об этом, когда будешь звонить с дороги в «ПН». Иначе я достану себе билеты другим путем, – грозит она.

Наконец поезд трогается. Он еще некоторое время машет ей, затем отходит от окна. Это доброе предзнаменование, что он один в купе. Он дает проводнику на чай, чтобы тот никого к нему не сажал. Затем отправляется в вагон-ресторан. Есть ему не хочется, и, в сущности, надо было бы немного поэкономить. Но этот час, перед тем как лечь, приятнее всего провести в вагоне-ресторане, а над его соображениями насчет экономии Ильза только посмеялась бы.

Поезд мчится, упруго и равномерно раскачиваясь. Вагон-ресторан переполнен, в воздухе стоит приглушенный гул. Беньямин, как всегда, удивляется ловкости, с какой официанты обслуживают публику в быстро несущемся поезде.

Охотно или неохотно покинул он Париж? Его слегка беспокоит, что он вынужден был прервать работу в «Новостях». Ради одного только паспорта он не поехал бы в Базель. Но материал, о котором писал Дитман, вместе с паспортом – это уж стоит поездки, и он заранее радуется встрече с Дитманом. Есть многое такое, чего в письме не напишешь, а в иных случаях только устные комментарии бросают настоящий свет на дело.

Тот, кто жарил эту курицу, явно переусердствовал. Беньямин лениво ковыряет куриную ножку и в конце концов бросает ее наполовину недоеденной. Сегодня перед Траутвейном он умалил себя и свою работу. Он это часто делает. Но только для того, чтобы вынудить у собеседника подтверждение своих заслуг, а заслуги у него, несомненно, есть, и тот, кто когда-нибудь серьезно займется историей Веймарской республики, не сможет не упомянуть о них.

Он больше, чем кто-либо, содействовал раскрытию тайного вооружения Германии и связанных с ним политических убийств. Ему пришлось немало вытерпеть. Господа из генерального штаба были жестокими и сильными противниками, они ничего не прощали, без конца преследовали его процессами, травили. Нелегко было все эти годы терпеть нападки множества газет, поносивших его как «предателя и изменника родины». Он задумчиво потягивает свое вино.

Тогда все, что он делал, имело полный смысл; тогда имело полный смысл стремиться к тому, чтобы Германия из милитаристского полицейского государства стала индустриальной и культурной страной. Вряд ли кто-нибудь будет это оспаривать. Но если он теперь старается доказать, что германский генеральный штаб готовится к войне, есть ли еще в этом какой-нибудь смысл? Какая польза без конца показывать людям, которые не хотят видеть, без конца втолковывать людям, которые отказываются слушать, что нынешняя Германия стремится огнем и мечом утвердить в Европе свою гегемонию? Лезть в этом случае из кожи вон – значит продолжать деятельность, которая давно потеряла свой смысл; так продолжает часами биться сердце лягушки, а туловище, из которого оно вынуто, давно мертво.

Вздор. Имеет смысл или не имеет, он не может не писать. Из своего четырехлетнего пребывания на фронте он вынес жгучую ненависть ко всякому проявлению милитаризма. В этой ненависти – пафос его жизни. Он не мыслит себя без этой ненависти; его противники утверждают, будто его безоговорочный пацифизм, его непоколебимый антимилитаризм приводят как раз к обратному; люди, подобные ему, приближают войну, вместо того чтобы ей препятствовать. Но с тех пор, как он вернулся домой после ужасов фронта, он больше не может не писать против милитаризма. В течение последних семнадцати лет понятия жить и писать на эти темы для него нераздельны.

Маленькими глотками попивает он кофе. Статья о двух «шпионках» удалась ему, даже Траутвейн при всей его скрытой неприязни признал, что она отлично сделана. А у него ведь было очень мало материала. О, насколько лучше обстояло у него с информацией в Берлине. Когда придаешь такое большое значение точным данным, от отсутствия их сильно страдаешь. Надо надеяться, что материал, обещанный Дитманом, стоящий. Ему, Беньямину, очень хочется выпустить еще один номер «Трибуны», за который он мог бы полностью нести ответственность.

Он сунул в карман сдачу со стофранковой бумажки. Поездка в Базель обойдется недешево. Он встал, чувствуя приятное тепло от бургундского; бросаемый из стороны в сторону мчащимся поездом, вернулся в купе.

Постель уже приготовлена. Он запер дверь, наслаждаясь одиночеством. Открыл окно, чтобы перед сном еще немного подышать свежим воздухом. Разделся, кое-как разместил снятые с себя вещи, умылся, почистил зубы. Три створки туалетного зеркала отразили его лицо, желтое, одутловатое, потное. Оно не понравилось ему. Но глупым, во всяком случае, его нельзя назвать, этого не могли утверждать даже германские генералы, его враги. Он принял снотворное – без снотворного он не засыпал в поезде – и таблетку пирамидона, чтобы проснуться завтра без головной боли. Включил настольную лампу, выключил верхний свет. Разозлился, как всегда, что одеяло так крепко зажато между диваном и стеной. Вытащил его оттуда, вытянулся удобно, закутался.

Так, теперь все в порядке, все хорошо. «О королева, как прекрасна жизнь!» Только дороговата. Одна поездка – он уж знает себя – обойдется ему около четырех тысяч франков. Дитману на покрытие расходов придется тоже дать тысячи две-три, еще две тысячи уйдут на паспорт. Это много – и это мало. В Берлине он иной раз зарабатывал такие деньги за две недели, у Гингольда ему для этого нужно гнуть спину три месяца. Ильзе не стоит рассказывать, как дорого обойдется поездка. В сущности, надо было бы ее попросить на ближайшие месяцы несколько сократиться. Но это выше его сил. Стоит ему вспомнить, что было, когда они из дорогого отеля «Рояль» переселились в более дешевую гостиницу «Атлантик», и у него заранее отнимается язык.

Почти десять тысяч франков. И за что? За удостоверение личности, за дурацкий клочок бумажки. Томас Манн, глядя на младенца, родившегося у кого-то из его цюрихских знакомых, воскликнул: «Всего восемь дней от роду – и уже швейцарец!» Горькая острота. Беттина Ламмерс, которая не имеет обыкновения врать, рассказывала, что она ходила в префектуру семьдесят восемь раз. Ее посылали от одного окошечка к другому, а документа она так и по сей день не получила.

Нет, читать он уже не будет. Он выключил настольную лампу, и в купе остался только слабый синеватый свет ночника. Бенъямин потягивается и позевывает в приятной сонной истоме. Нет, ему живется неплохо. Если вспомнить, как мучаются другие эмигранты, то ему нужно еще славить и благодарить бога. Как странно, что пришли на ум эти слова. Это оттого, что он засыпает, – в такие минуты человек теряет над собой контроль и всплывают слова из далекого детства. Да, он может славить и благодарить бога. Ему повезло. У него есть счастливая возможность заниматься тем, к чему его больше всего влечет. Великое удовольствие покрывать бумагу осмысленными словами. Сначала это просто лист бумаги, белый, пустой и безмолвный, и вдруг он обретает твой голос и говорит всякому, кто не отказывается слушать, все то, что ты чувствуешь и думаешь. Вдобавок тебе платят за это занятие столько, что можно сводить концы с концами, да еще чуть не каждый день получаешь от каких-нибудь восторженных читателей благодарственные письма. Да, тут ничего другого не скажешь, как только: слава и благодарение богу. Или еще, как говаривал дедушка: «Все к лучшему». И неожиданно в нем возникают древнееврейские слова, о которых он не вспоминал, наверное, лет тридцать: «Гам зу летойво», – и он ясно видит своего деда, полного старика с ермолкой на седовласой голове, с красивым лицом, всегда плохо выбритым, так что седая щетина колется.

«Все к лучшему». Но это очень условно. Прошлое несравнимо с настоящим. Как хорошо было тогда, после четырех лет фронта и вынужденного молчания, излить в крике всю ненависть, накопившуюся в душе. Он просто ощущал, как сотни тысяч, миллионы подхватывают этот крик. А позже, когда, бывало, доказываешь немцам и всему миру на основании точных и неопровержимых данных, что старые генералы, которые и раньше промышляли обманом, продолжают это делать и по сей день, когда, бывало, бьешь противника в лоб, какая это была зарядка и разрядка. Какое удовлетворение. И когда ярость врагов, ярость власть имущих, готова была уничтожить тебя, когда они любыми средствами старались заткнуть тебе рот и это им не удавалось, вот тогда ты чувствовал, что живешь.

А теперь, думал он с презрением, теперь все мертво, все выдохлось. Для чего живешь? Для чего работаешь? Пишешь на мертвом языке. Кто его понимает, тому написанного тобой читать не доведется, а кто прочтет, тот и без того знает, что ты хочешь ему сказать.

Вагон покачивается в такт равномерному, убаюкивающему движению. Так, так, говорит Бенъямин про себя, когда его подкидывает вверх. Но уж при обратном движении он говорит себе: нет, не так. Конечно, со стороны работа его может показаться пустой тратой времени. Однако уже самая ненависть, с которой враги встречают его статьи, доказывает, что он попадает в цель, что работа его имеет смысл.

Сон надвигается. Нет ничего приятнее, чем так, с полной ясностью чувствовать, как слой за слоем выключается бодрствующее сознание, точно медленно гаснет лампа за лампой.

«Все к лучшему». Да, это совпало великолепно – он устроит паспортные дела и заодно повидается с Дитманом. Судьба улыбнулась ему, послав этого Дитмана. Он думает о Дитмане с какой-то нежностью. Он не политик, наш Дитман, но верный парень, а интересный материал он чует носом на расстоянии.

Веки его тяжелеют, во всем теле сонное оцепенение. Он гасит и голубой ночник и с удовольствием предвкушает хороший, крепкий сон до утра. Ложится на правый бок, зажав подушку между плечом и головой.

Что-то теперь делает Ильза? Она была великолепна, когда стояла на перроне с запрокинутой головой и полуоткрытым смеющимся широким ртом с красивыми зубами, в своем весеннем костюме, который она сегодня надела в первый раз. В сущности, эти сдвинутые назад тирольские шляпы – необычайно глупая мода. Но Ильзе идет даже этот нелепый фасон. Ему все нравится в ней. Удивительно, что после стольких лет совместной жизни можно быть так слепо влюбленным, как он. Он испытывает страстное желание лежать с нею рядом, ласкать ее гладкую, нежную кожу, ее маленькую грудь. Ей нужны деньги, много денег. Несмотря на стесненные обстоятельства, она в Париже почти не изменила своего образа жизни, она и не думает в чем-нибудь себя ограничить, она требует денег с такой же уверенностью, как в свое время в Берлине, когда он был высокооплачиваемым редактором «Прейсшпигель». Она не была бы Ильзой и он не любил бы ее так, если бы она поступала иначе. Она имеет право требовать деньги, когда они ей нужны, она стоит их. Это особая милость и счастье, что она требует их от него, – от других она могла бы иметь их гораздо больше.

Он старается представить себе, где она теперь, с кем, что делает, сидит ли, стоит, ходит, смеется, болтает, ест или пьет. Она любит флирт и флиртует много, предпочитает красивых мужчин; она улыбается им, улыбается все ее милое, очаровательное, бело-розовое славянское лицо. Он не знает, как далеко она заходит с этими красивыми мужчинами, он не хочет этого знать. Кошки скребут у него на сердце, когда он представляет себе, с какого сорта мужчинами она, вероятно, проводит сегодняшний вечер. Но как бальзам на эти душевные царапины действует сознание, что она, красивая, изящная, богатая Ильза – тогда она была богатой, – вышла замуж именно за него. Правда, она иногда поднимает его на смех, но, когда нужно, она горой стоит за него, он это знает.

Беньямин ногами расправляет подвернутое одеяло и опять закутывается. Ах, если бы у него было побольше денег для Ильзы. Он был бы счастлив положить на ее текущий счет солидный куш. Она просто чудеса творит на те деньги, что он дает ей. В глубине души – вслух он никогда это не выскажет – в нем дремлет подозрение, что то или иное платье, та или иная драгоценность куплены Ильзой не на его деньги.

Но сегодня, раньше чем это подозрение начинает шевелиться, «то» снова тут как тут. «То» – соблазн, который Фридрих Беньямин старательно отодвигает в туман, не позволяя ему принять определенные очертания, «то» – возможность довольно крупного заработка. Один финансист, несомненно по поручению группы лиц, предложил ему деньги, крупную сумму, с тем чтобы укрепить «Трибуну», журнал, который он теперь выпускает нерегулярно. Ни о каких обязательствах не было речи. Но и без долгих слов Беньямин понимал, что за щедрым финансистом стоят люди, заинтересованные в росте вооружений. Люди эти хотят, чтобы опытный журналист с именем давал в серьезном органе обзоры германских вооружений во всем их объеме, подготавливая общественное мнение других стран к мысли о необходимости встречных вооружений. Он, Фридрих Беньямин, безоговорочный пацифист, убежденный противник всяких вооружений независимо от того, кто вооружается. Значит, он враг этих людей, которые заинтересованы в вооружениях. Но пока, на ближайший отрезок времени, надо думать короткий, его интересы совпадают с их интересами, как ни противоположны их конечные цели.

Должен ли он, когда подозрительные люди предлагают ему деньги, для того чтобы расширить и укрепить его журнал, не ставя ему при этом никаких условий, отклонить их предложение? Обязан ли он, как человек честных убеждений, отвергнуть деньги только потому, что тот, кто их платит, не разделяет его убеждений? Честно говоря, обязан. Он знает, что, изъяви он согласие, его противники ложно это истолкуют, заявят, что он подкуплен, и тем самым сведут на нет значение и влияние его статей. Поэтому он и не даст согласия. Но ему приятна мысль, что такая возможность существует, что стоит ему сказать «да», и деньги будут, что «то» – реальность, отклоняемая им, туманная, но все же реальность. Однако он не соглашается, и это дает ему право чувствовать себя человеком стойким, держать голову высоко и с

чистой совестью вознаграждать себя всякими мелкими благами жизни за тот жирный кусок, который он отвергает из высших соображений.

Он подтягивает колени к подбородку и лежит, как дитя во чреве матери. «Спокойной ночи», – желает он себе и засыпает с красящей его мудрой, покорной усмешкой над самим собой. Поезд укачивает его, он засыпает незаметно и глубоко, слегка похрапывает. Так едет он сквозь ночь к юго-восточной границе, навстречу обманчивой безопасности, навстречу своей судьбе.

4

Заблудшая дочь порядочных родителей

Ильза Беньямин, помахав мужу столько, сколько полагалось, вышла из здания вокзала, с удовольствием отмечая про себя многочисленные восхищенные взгляды, которыми провожали ее, красивую, стройную женщину. У подъезда она, как всегда, пожалела, что у нее нет своей машины; но и некоторая доля торжества примешивалась к этому сожалению: не ей, а шоферу такси нужно беспокоиться о том, как вести машину по скользкому асфальту.

Войдя к себе в номер – Беньямины жили в небольшой, но уютной гостинице «Атлан-тик», – она нашла на столе вечернюю почту и в числе прочих три настойчивых, дерзких письма от мужчин, с которыми флиртowała. Она прилегла на кушетку, закурила. Ильза соби-ралась провести вечер с Яношем. Но ему она, несмотря на все его настояния, еще ничего определенного не обещала и только сказала, что, если ей все-таки заблагорассудится его пови-дать, она ему позвонит; ей казалось, что тактически правильнее разыграть из себя недоступ-ную. Янош, атташе венгерского посольства, необычайно красивый мальчишка, носил какое-то трудно выговариваемое аристократическое имя, отнюдь не Янош; она же, и радуя, и обижая его этим, называла его просто Янош. Почти час прошел уже после условленного времени, и, стало быть, можно ему позвонить. Звучным голосом, растягивая слова, почти непрерывно хохоча, она говорит, что пока еще ничего не решила и только после вечерней ванны сможет оконча-тельно определить, чего ей, собственно, хочется. Она слушала его дерзкие, пылкие компли-менты, похотливо вздрагивая, томно поеживаясь. Затем, пока ванна наполнялась водой, она позвонила своей приятельнице Эдит, посмеялась над Фрицхеном, своим мужем, пожалела, что он уехал, порадовалась этому, обсудила с Эдит, переспать ли ей с Яношем и когда – может быть, даже сегодня? По всем правилам флирта следовало бы оттянуть удовольствие. Но с дру-гой стороны, всю историю к понедельнику надо закончить; было бы непорядочно по отноше-нию к Фрицхену, если бы она и по его возвращении путалась с фашистом. Она и Эдит долго и серьезно взвешивали с точки зрения тактики и морали все за и против, пока Ильза не сказала, что ванна ее уже вторично остыла.

Она поужинала с Яношем в маленьком ресторане в Нейи, только что вошедшем в моду отчасти благодаря своим закускам, отчасти – специальному блюду, петушиным гребешкам с петушиными почками. Закуски действительно отличались особой пикантностью, а петуши-ные гребешки с почками были отлично приготовлены. Но в ресторане немного было знато-ков, умевших оценить своеобразие этих блюд, атташе и Ильза тоже вряд ли принадлежали к их числу, да и сидеть здесь было неудобно и тесно. Зато неслыханно высокие цены позво-ляли посетителям чувствовать себя избранныками – они-де ужинают в ресторане, слава кото-рого всего лишь две недели как стала распространяться среди посвященных. Затем Ильза и атташе поехали на Елисейские Поля, в кафе, где после сегодняшней театральной премьеры можно было наверняка встретить знакомых. С Ильзой Беньямин приветливо раскланивалось много народу, но были среди посетителей и менее обеспеченные люди, интеллигенты; их воз-мущало, что жена Фридриха Беньямина смеется, флиртует и разряжена в пух и прах, когда кругом столько эмигрантов пропадают с голоду.

Из кафе направились в варьете, а затем в кабачок на Монмартре, оттуда, когда уже рас-свело, Ильза и Янош перекочевали в пивную для шоферов. В кабачке на Монмартре Ильза, именно потому что Янош так чудесно танцевал, решила продлить радость ожидания и тем самым усилить остроту последних жгучих мгновений. Поэтому, когда Янош отвез ее поутру домой, она на сегодня отставила его.

Ильза спала долго и хорошо. В половине первого – она раз навсегда распорядилась не будить ее раньше этого часа – ей принесли почту и посылки, полученные на ее имя, среди

прочего телеграмму от мужа: «Все порядке приеду понедельник Фрицхен». Она потянулась, похвалила себя за то, что отставила Яноша, не без нежности подумала о Фрицхене. Затем села в ванну, радуясь своей нежной бело-розовой коже и своей жизни.

День прошел лениво, вместе с Эдит она ходила по магазинам, много разговаривала по телефону, час играла в бридж и выиграла восемнадцать франков, прочитала письма, адресованные мужу, не все в них поняла, решила, что в них ничего такого нет, о чем следовало бы ему сообщить, радовалась и сожалела, что Фрицхена нет, радовалась и сожалела, что она запретила ему звонить и поэтому теперь не может ждать от него телефонного звонка, глубокомысленно проболтала полчаса с молодым, довольно неопрятным на вид эмигрантом, философом Гальперном, с удовольствием отметила, как он от вождения к ней краснеет и настолько робок, что способен лишь пролепетать неловкий комплимент, заставила элегантного графа Боннини повезти ее смотреть нашумевшую спорную постановку шекспировской драмы, мало что поняла и отчаянно ругала Шекспира за то, что он устарел, ругала и самую постановку; покинула театр сейчас же после первого действия, к великому удовольствию графа, и поехала с ним к «Максиму» ужинать. Во время ужина позвонила Яношу и встретила с ним в час ночи у Флоранс, после того как Боннини в полночь отвез ее домой. Янош и в эту ночь, со среды на четверг, не достиг цели.

Без Фрицхена ей оставалось прожить всего каких-нибудь четыре дня – четыре дня, бывшие в ее полном распоряжении. В этот четверг ей попала в руки статья Фрицхена, напечатанная в одном видном английском журнале. Она прочитала статью и нашла ее великолепной. Она всегда считала Фрицхена умнее всех, кого она знала, самой светлой головой. Он – *graesceptor Germanise*³, он выставляет отметки, одному – хорошие, другому – плохие, он духовный диктатор немцев; она же диктатор над ним. Это очень забавно, и она гордится, что вышла за него замуж. Все же досадно, что у Фрицхена не хватило смелости вопреки ее запрещению позвонить, и поэтому она считает себя вправе назначить Яношу новое свидание.

Положив трубку, она с кровати взглянула на письменный стол, где стояла фотография Фрицхена. Она довольна, что поставила фотографию так, чтобы видеть ее день и ночь. У Фрицхена чудесные глаза. Временами они выражают собачью преданность, временами – безграничное отчаяние, но в общем это гениальные глаза. Нет никаких сомнений: он умнейший, замечательнейший человек из всех, кого она знала. Никто не мог понять, как она, дочь богатых, почтенных родителей, «арийцев», вышла за невзрачного журналиста-еврея, весьма подозрительного при всем его блеске. Она-то хорошо знала, почему она это сделала, только в редкие минуты сама переставала понимать себя, но и тогда глубоко себя уважала за этот шаг.

Если вспомнить жизнь в родительском доме, то эти парижские годы, несмотря на всякие мелкие огорчения, покажутся сбывшейся мечтой. В свое время богатые родители очень ее баловали, она делала что хотела, флиртовала, ездила верхом, правила машиной, играла в теннис, болтала по-французски, английски, итальянски, посещала какие-то странные лекции. Но при всем том какая мещански-удушливая атмосфера устоялась в купеческом доме ее родителей, как ее преследовали вечным надзором, сколько ее окружало условностей, предрассудков. Тут из одного протеста станешь *highbrow*, снобом, и если только ты мало-мальски – личность, из одного духа противоречия будешь радоваться случаю ошеломить этих мещан. День, когда она решила выйти замуж за Беньямина, был большим днем, самым большим в ее жизни; никогда еще она не чувствовала себя такой «возвышенной натурой», свободной от предрассудков, благородной, оригинальной.

Она и сейчас еще с удовольствием смакует эпизод, который толкнул ее на этот брак. Сентиментальность и настойчивость, с какой этот маленький еврей с влекуще-уродливым лицом осаждал ее, его циничные, страстные, не знающие никакой меры комплименты произвели на

³ Наставник Германии (*лат.*).

нее, двадцатилетнюю девушку, впечатление, и она решила отдаться ему. И вот, когда она впервые пришла к нему на квартиру, произошел этот самый «эпизод». Это была странная квартира, смесь убожества с неуклюжей роскошью; наряду с более чем жалкой ванной комнатой спальня с роскошной кроватью под безвкусной люстрой. Она позволила ему наполовину раздеть себя и жадно, готовая на все, ждала. Но он вдруг резко отшатнулся; его страсть, объяснил он ей, сильна и честна, а ей, видимо, заблагорассудилось переспать с ним раз-другой. Он боится, что с ее стороны все это лишь похоть и любопытство, но таких встреч у него было достаточно, они больше его не увлекают. Его слова поразили ее, да и сам этот дерзкий человек порастил ее, он еще и по сей день ей импонирует. И по сей день она считает свое замужество, эту безмерную глупость, лучшим, умнейшим поступком своей жизни.

Ильза Беньямин смотрит с кровати на фотографию мужа. Души у него хватит на них обоих, достаточно поглядеть на его глаза. С улыбкой вспоминает она, сколько серьезных, одаренных мужчин укоряли ее за ветреность, за внутреннюю пустоту и не прочь были вдохнуть в нее душу, разумеется в обмен на ее тело. Один раз она обнаружила в себе душу, раз и навсегда, когда вышла замуж за Фрицхена; она вполне довольна, ей нисколько не мешают пустота и ветреность.

Она задумчиво улыбается, опускает сладкую подкову в чашку с шоколадом, с аппетитом ест. С плутоватым самодовольством, в полном ладу с собой, она вспоминает о том сюрпризе, который ее ждал вскоре после свадьбы. Через два месяца после того, как родители решили простить ее и назначили ей ежемесячную ренту, выяснилось, что они разорены, и тут ее идеализм оказался, помимо всего прочего, выгодным дельцем: ведь Фрицхен неплохо зарабатывал.

Да, она довольна собой, своим мужем и всем светом. Верно, в Берлине жилось роскошнее, чем в Париже. Здесь ей приходится труднее. Но зато в Париже у нее больше душевного удовлетворения. Жить здесь, в Париже, на положении эмигранта – это кое-что да значит, это выделяет тебя из общей массы. Фридрих Беньямин и в Берлине был заметным человеком, особенным, а здесь он стал им вдвойне, а вместе с ним и она.

Голубчики мои, уже половина второго. Надо вставать, иначе она опоздает к Сюзанне на примерку. Вечернее платье она обновит завтра, на премьере с Марлен Дитрих. Она обещала Сюзанне дать сегодня окончательный ответ насчет костюма. Ей он не нужен, но он красив. Заказать его или нет? Ее раздражает необходимость раздумывать по такому поводу. Нет-нет, а невольно чувствуешь, во что обходится этот «особый» отпечаток, который дает изгнание. Комфортабельная берлинская квартира, дом на широкую ногу, красивый автомобиль, верховая лошадь – все это уплыло. Но как раз жертвы, которые она принесла во имя своего лучшего «я», как раз тот факт, что она и в нужде не оставляет своего милого уродливого еврея, показывают всему свету и ей самой, что она личность, а это, как известно, величайшее счастье для земных созданий. И потом – она улыбается, – ничто не мешает ей с чистой совестью возместить себе жертвы, которые она принесла Фрицхену, тем, что она позволит себе еще больше вольностей.

Заказать костюм или нет? Она не интересуется денежными делами Фрицхена, но знает, что он мог бы, если бы захотел, получить большие деньги для своего журнала «Трибуна». Этот журнал – начинание идейное, а если Фрицхен согласится взять деньги, оно будет немножко менее идейным. Он не берет денег; она и презирает его за это, и еще больше уважает. Костюм она закажет. Сюзанна согласна ждать сколько угодно, а счастливый случай всегда подвернется, и в нужную минуту деньги свалятся точно с неба.

Фрицхен надрывается, стараясь доставить ей ту роскошь, которой он ее как-никак окружает, это видит и слепой. Впрочем, вполне естественно, что он так поступает. И все-таки это очень мило с его стороны. А то, что он никогда об этом не заикается, она ценит вдвойне. Как же судить о любви мужчины, если не по жертвам, которые он приносит женщине?

Она пудрится, красит губы. Отводя глаза от зеркала, скашивает их на его портрет, машинально улыбается кокетливой, плутовской улыбкой, точно он на самом деле в комнате. Ее Фри-

цхен приносит ради нее жертвы. До нее дошли разговоры, будто тратами на жену, которые люди считают доказательством его смехотворной поработченности, он вредит своему положению и авторитету в эмигрантской колонии. Она не верит этому. Но если это так, она даже рада. Что там ни говори, она – дающая, а он – одариваемый. Она знает, что он без нее жить не может, и это хорошо. Ибо в лучшем случае ее красота продержится еще три или четыре года, дразнящий золотой блеск ее волос померкнет, и что тогда? В эту минуту все лицо ее, обращенное к портрету, светится улыбкой; она с чистой совестью может сказать, что, сколько бы презрения ни примешивалось к ее уважению, она из всех мужчин любит его одного.

Ильза поехала к Сюзанне, примерила платье, заказала костюм. Прошел четверг, наступила пятница, день премьеры с Марлен Дитрих, на которую Фрицхен должен был достать ей билет. В полученной ею почте билета не было. Она позвонила в «Новости», там никто ничего не знал о билете, который господин Бенъямин, по ее словам, заказал для нее, он вообще, как это ни странно, ни разу за все эти дни не дал о себе знать. Она ужасно разозлилась: какое невнимание со стороны Фрицхена, он так и не позаботился о билете. Просто стыдно перед сотрудниками «Парижских новостей». Она знает, что они не любят ее, они находят, что ее замашки не к лицу эмигрантке, называют ее «саксонская леди». Уже по одному этому Фрицхен не смел оставлять ее в дураках. Теперь у нее есть все основания, как она и предупредила Фрицхена, достать себе билет другим путем и другими средствами.

Она позвонила Яношу. Он заверяет ее, что она может на него положиться, билеты будут, хотя бы ему пришлось для этого убить с десяток владельцев кинотеатров. В условленный час он действительно заезжает за ней и предоставляет ей достойный случай продемонстрировать свое вечернее платье.

Ничего удивительного, что при такой невнимательности Фрицхена и такой готовности на любые жертвы, какую обнаружил Янош, она без колебаний в последний момент – ибо завтра Фрицхен будет уже здесь – позволила наконец Яношу достигнуть цели.

Янош показал себя таким, каким она его и представляла себе: красивым, галантным, пылким, дерзким, довольно-таки ограниченным – большего она и не ждала.

Вернувшись домой, она долго и тщательно мылась в ванне. Всегда, когда она купается после близости с мужчиной, у нее какое-то смутное ощущение, что вместе с телом она оmyвает и душу. Лежа в приятно-теплой воде, она курит и напряженно думает, наморщив широкий, низкий, своевольный лоб. Она подводит итог. В общем, это было неплохо и доставило ей удовольствие, но, когда это кончится, она жалеть не будет. В конце концов, он фашист. Конечно, не внутреннее убеждение, а случай сделал его фашистом. Бедняга особыми способностями не отличается: чем же ему быть, если не атташе при своем посольстве? Будь у него либеральное правительство, и он был бы либералом.

За окнами светает. Уже, значит, суббота, а в понедельник Фрицхен будет здесь. Она рада, что скоро увидит его. Когда его нет, ей недостает его; это единственный человек, который может удовлетворить ее духовные запросы. Только завтрашнюю ночь она еще поспит с Яношем, а затем, конечно, даст ему отставку. Впрочем, еще два-три раза она с ним куда-нибудь поедет. Очень эффектно показываться с этим стройным, элегантным мужчиной в театре, в кафе; а как забавно будет видеть его недоумение и замешательство, когда она неизменно будет отправлять его несолоно хлебавши домой, пока он наконец не поймет, что между ними все кончено – и так скоро.

Прошла суббота, прошло воскресенье. В понедельник вместо Фрицхена прибыла телеграмма: «Еду Женеву среду буду назад Фрицхен».

Ильза не особенно сердилась на Фрицхена, что он задержался, хотя ее всегда злило, если кто-нибудь расстраивал ее планы. Гораздо больше раздражало ее, что Фрицхен телеграфировал, вместо того чтобы позвонить по телефону. Так уж буквально ему не следовало понимать

ее запрета; очень хотелось бы услышать его родной голос. Трусость с его стороны, что он не посмел позвонить.

– Трус, – говорит она, обращаясь к портрету.

Уж если его задерживает какое-нибудь дело, значит это серьезное дело; вероятнее всего, он напал на след каких-нибудь важных материалов. Она заранее радуется статьям, которые он напишет; они, безусловно, обратят на себя внимание. Яношу, во всяком случае, повезло; день, когда ему придется услышать суровый приговор, отодвигается.

Понедельник и вторник у нее были заняты с утра и до ночи. Она ездила на примерку, переговаривалась по телефону со своей приятельницей Эдит, играла в бридж, посещала дорогие рестораны, была в театре, в кино, флиртowała, курила, спала с Яношем, мылась в ванне, беседовала с портретом Фрицхена. Наступила среда, день, когда Фрицхен обещал приехать; ее удивляло, что он не сообщил точно час своего приезда – совершенно несвойственная ему бестактность. Утром пришло письмо от Дитмана, сотрудника Фрицхена, в котором тот писал: «Почему от вас до сих пор нет никаких вестей? Без ваших документов я не могу ничего предпринять». Она мельком подумала: как странно, что всегда аккуратный Фрицхен оставил Дитмана без вестей. Но все это выяснится сегодня вечером, когда он придет.

Она подумала, не пойти ли куда-нибудь вечером в пик Фрицхену за то, что он был так непредупредителен и не известил ее о времени приезда. Но затем все-таки решила ждать его дома. Ждала его, сидя за книгой, одна. В половине первого ночи легла в постель, возмущенная тем, что он не приехал, не известил ее, испортил ей вечер.

На следующий день ей позвонили из «Новостей» и довольно-таки раздраженным тоном спросили, где же пропадает Беньямин. Они получили телеграмму точно такого же содержания, как и она. Уж и среда прошла, отпуск господина Беньямина давно кончился, господин Гингольд недоволен и удивлен, господа Гейльбрун и Траутвейн также недоумевают. Да и она в недоумении. Только одним можно все объяснить: дела задержали Фрицхена в Женеве дольше, чем он предполагал; характер же этих дел не допускает, по-видимому, огласки, и поэтому он с присущей ему осторожностью воздержался от телеграммы. Это было правдоподобно; но все-таки он мог бы найти средство как-нибудь окольным путем известить ее. Она решила наказать его за такое невнимание и в дальнейшем совершенно с ним не считаться. Еще одним вечером она ради него не пожертвует. В четверг она провела вечер с Яношем.

Наступила пятница, а от Фрицхена все еще никаких вестей. На этот раз уже она позвонила в редакцию. Сегодня с ней разговаривали не так раздраженно, как вчера, скорее как-то неуверенно, робко, пожалуй, даже сочувственно. Ильза отгоняет невольную тревогу, прикидывается равнодушной, высказывает бессмысленное предположение, не попал ли Фрицхен в Женеве в сети какой-нибудь красавицы; насколько ей известно, в кругах Лиги Наций поживиться особенно нечем.

Во время этого разговора ее вдруг охватило незнакомое ей тягостное чувство вины, оттого что прошлую ночь она не ждала его. Она повесила трубку. «Так рано я уж давно не начинала свой день», – пыталась она подшутить над собой, но из этого ничего не вышло. Среди утренних писем, которые она против обыкновения велела рано принести к себе в номер, ни от Фрицхена, ни от кого из его помощников ничего не было. Она вторично просмотрела письма. Ничего. Она позвонила консьержу, не осталось ли у него еще письма и не пришло ли новое. Нет, ничего. «Пустяки, – утешала она себя. – Глупости, вздор. Сам он не может написать, а его помощники поленились это сделать. А может быть, какую-нибудь телеграмму и не доставили. Почта работает безобразно». И она встала, решив приготовить себе ванну. В ожидании, пока ванна наполнится, она, опять-таки против обыкновения, снова села на кровать, задумалась. Так сидела она некоторое время. Из ванной донесся плеск, вода лилась через край. Никогда этого с ней не случалось.

Она прошла в ванную, закрыла краны. Но не села в ванну, а вернулась в комнату и снова опустилась на кровать, какая-то вялая, с полуоткрытым ртом. Так она долго сидела, ее стало знобить. Неожиданно для себя она опять позвонила в «Новости».

– Послушайте, ведь это все-таки немножко странно, что Фрицхена до сих пор нет. Мне хотелось бы подробнее поговорить с вами. Если вы не возражаете, я заеду в редакцию.

– Да, пожалуйста, это будет лучше всего, – ответили ей, и по быстроте ответа она поняла, что там ждали ее предложения заехать.

Она не стала принимать ванны и оделась менее тщательно, чем обычно. Не только потому, что торопилась, – это было своего рода самобичевание, она наказывала себя.

В редакции ее встретили со смущенным любопытством, как человека, у которого только что умер близкий. Все говорили чуть не шепотом, машинки перестали стучать, люди ходили на цыпочках. Ее повели в кабинет Гейльбруна. Едва тот поздоровался с ней, как в комнату вошел Траутвейн. Траутвейна она терпеть не могла, он казался ей таким же грубым и неотесанным, как она ему – жеманной и претенциозной. Траутвейн с присущей ему прямоотой заговорил без всяких околичностей.

– Надо немедленно что-то предпринять, – сказал он. – Если такой пунктуальный человек, как Беньямин, пропускает все сроки и ничего о себе не сообщает, то это более чем подозрительно. Шутка ли сказать, Базель. Мне незачем вам объяснять, почему ему угрожает опасность и какая. Мы все были идиотами, что не удержали его от этой поездки. Глупо, когда такие вещи говорят задним числом, но факт остается фактом: Дитман мне никогда не нравился.

Даже любезный, осторожный Гейльбрун и тот сказал:

– По правде говоря, трудно себе представить, чтобы он не известил ни вас, ни нас, если с ним ничего не случилось.

Ильза переводит взгляд с одного на другого. Она сидит полуоткрыв рот, испуганная, оторопевшая. Конечно, оба они правы, но она не хочет с ними согласиться. Она ищет доводов для возражения, ухватывается за брошенное в разговоре имя.

– Дитман, – с трудом выговорила она протяжнее, чем обычно. – Они ведь были большими приятелями, он и Дитман. Он очень любил Дитмана. – Обоим ее собеседникам и ей самой резнуло слух это «были» и «любил». Значит, она уже допускает, что с ним что-то стряслось и что к этому приложил руку Дитман? Нет, нет. – От Дитмана было письмо, – продолжала она оживленнее, увереннее, – он спрашивает, почему Фрицхен не дает о себе знать.

«Фрицхен» прозвучало теперь очень неуместно, но как же иначе ей называть его?

– Откуда он написал? – спросил Траутвейн. А Гейльбрун подхватил:

– И когда? Письмо при вас?

– Письмо из Лондона, – ответила Ильза. – Оно получено в среду утром. С собой его у меня нет, оно дома.

– Как бы там ни было, надо известить полицию, – звонким голосом решительно сказал Траутвейн. Ильза взглянула на него зло, как на врага, который отнимает у нее последнюю надежду. Гейльбрун в свою очередь вставил:

– Надо непременно разыскать в Лондоне этого Дитмана и связаться с ним по телефону, по телеграфу, как угодно.

– Но прежде всего я позвоню в полицию, – повторил Траутвейн.

Ильза сидела перед ним, ее карие глаза растерянно, беспомощно блуждали от одного к другому. Резче выступили широкие скулы, она уже не была красивой, и даже сам Фридрих Беньямин не сказал бы теперь, что задорная изящная тирольская шляпка ей к лицу. Машинально мяла она в руках крохотный носовой платочек.

– Незачем так уж сразу предполагать самое страшное, – утешал Гейльбрун, но Траутвейн сказал:

– Правильнее предположить именно самое страшное. Надо действовать и заставить действовать официальные инстанции.

«Щепотка насилия лучше, чем мешок права», – писала «Дейче юстиц», официальный орган германского судебного ведомства, и «третья империя» действовала соответственно этому принципу. Чиновники гестапо увезли из Швейцарии, из окрестностей Рамзена, коммуниста Вебера, насильно утащили в Германию из Саарской области эмигранта Вальтера Кана. На тирольско-баварской границе был убит шотландский инженер Джордж Белл, которому были известны многие тайны нынешних германских правителей, полицейские агенты схватили и увезли из Голландии в Германию немецкого матроса Шольца и других немецких «бунтовщиков». В Чехословакии агенты германской полиции похитили ряд людей и много раз пытались осуществить такие похищения. Нацисты убили там германского философа Лессинга, а совсем недавно – инженера Рудольфа Формиса, эмигранта. Обо всех этих случаях Ильза слышала; она забыла подробности, помнила лишь, что насилия эти совершались ужасающими, гнуснейшими средствами, и мысль о том, что могли сделать с Фрицем в эти дни, переворачивала ей всю душу. Она не в состоянии была усидеть на стуле. Перед обоими мужчинами стояла не прежняя элегантная дама, а затравленное существо, с дрожащими губами и тихим голосом.

– Помогите мне, помогите же мне, – с трудом выговорила Ильза.

Протелефонировали в полицию, в министерство иностранных дел, в швейцарское посольство. Недавнее злодеяние, о котором только что невольно вспомнила Ильза, зверское убийство в Чехословакии инженера-эмигранта, чем-то насалившего германским властям, – убийство, безнаказанно совершенное германской полицией полтора месяца назад, взволновало общественное мнение всего мира; поэтому сообщение «Новостей» о том, что и редактор Беньямин исчез при весьма подозрительных обстоятельствах, нашло живой отклик.

Уже через час после заявления французский полицейский комиссар учинил Ильзе подробнейший допрос. Она взяла себя в руки, спокойно и четко давала показания. Но как только допрос кончился, ее охватил безумный страх. Надо что-то сделать, надо что-то предпринять. Она позвонила своей приятельнице Эдит и попросила ее приехать. Через пятнадцать минут Эдит была у Ильзы, и в ее испуге отразился весь ужас происшедшего. Тогда, сама не зная зачем, Ильза позвонила еще десятку знакомых, наспех, сбивчиво, лихорадочно рассказывала о том, что случилось, прося совета и помощи у людей, которые при всем желании ничего не могли тут поделать. И Яноша она хотела просить помочь ей, но не дозвонилась. Графа Боннини ей удалось застать; охваченная паникой, она даже не заметила, как он, поняв, о чем речь, смешался, стал отвечать ей все холоднее и холоднее.

Когда Эдит ушла, она осталась одна в маленьком номере гостиницы «Атлантик». Было далеко за полдень, она еще ничего не ела, но голода не чувствовала.

Ильза Беньямин по-своему любила мужа. Она читала и слышала жуткие описания того, что в Германии называлось «допросом», ей случалось лично разговаривать с «допрошенными», которым посчастливилось бежать; трепетно, с любопытством, с содроганием она осматривала, щупала их рубцы. Когда она представляла себе, что, может быть, в эту самую минуту Фриц – она уже не осмеливалась даже в мыслях называть его Фрицхен – подвергается такому «допросу», она зябко поднимала плечи, что-то глухо и грозно подступало к горлу, во рту пересыхало. Она сидела согнувшись, наморщив широкий, низкий лоб, хотя не раз давала себе слово отучиться от этой скверной привычки.

Телефон звонил теперь довольно часто. Кругом говорили о случившемся, главным образом благодаря Эдит. Звонили друзья, знакомые, соболезнующие, жаждущие сенсации, звонили из редакций газет, просили разрешения прислать репортеров. Ильзу вдруг обуяла жажда деятельности, в глубине души шевельнулось смутное чувство удовлетворения оттого, что она оказалась в центре такого сенсационного происшествия. Но у нее хватило благоразумия спросить

в редакции «Новостей» совета, что ей делать, и там ей рекомендовали пока ничего не принимать.

Она осталась у себя, в номере гостиницы «Атлантик». Если она ходила по комнате, ей хотелось сидеть, лежать, думать; если она сидела или лежала, ее тянуло встать, двигаться. Все напоминало ей о Фрице. Она подолгу смотрела на его портрет, точно ждала, что фотография, если как следует всмотреться, заговорит и она, Ильза, узнает, что с Фрицем. Быть может, его уж нет в живых. Тогда она виновата в этом. Она обвиняла себя: как могла она не понять тотчас же, что телеграмма не от него, что она подделана. Если его уже нельзя спасти, то это ее вина. И то, что она запретила ему звонить, тоже ее вина.

Если он и в самом деле умер, что будет с ней? Этот зловеющий вопрос, вероятно, с первой же минуты возник в ней, но она не давала ему стать мыслью, а тем более словом. Теперь же, когда она вопрошала портрет, который молчал, и ее угнетали сомнения, жив ли Фриц, она вдруг поняла, перед каким множеством проблем сама оказалась.

Если он умер, значит она осталась без средств к существованию и положение ее – в высшей степени неопределенное. В эмигрантской среде ее не любят; правда, хотя бы только в целях пропаганды, ее объявят «жертвой» и бросят ей какую-нибудь подачку, но, по существу, она там чужая, ее не понимают. Но разве она зависит от эмигрантов? Случись «это», она и без эмигрантов была бы по-прежнему – правда, уже ненадолго – красивой, интересной женщиной и чем-то вроде мученицы. Перспективы у нее откроются, стоит ей только захотеть. «Допросы» германской полиции. Быть может, и для него, и для нее было бы лучше, если бы он умер.

Как бы там ни было, она еще не купалась сегодня. Она пустила воду, машинально разделась, села в ванну. Опять встали перед ней страшные сцены «допроса». Она почувствовала себя несчастной, замученной и к тому же вконец испорченной, оттого что слишком много думает о себе. Чем она могла ему помочь? Она ничем не могла ему помочь.

Ильза вытерлась, оделась, села перед зеркалом. Ее удивило, что перед ней та же Ильза, что ее глаза не потеряли блеска, что золото ее волос не потускнело, что она не изменилась. Но хотя ничто в ней не изменилось, она все же чувствовала себя старой, усталой, опустошенной.

В дверь постучали, принесли письма. Она слегка вздрогнула от испуга. Она где-то читала, что германские власти имеют обыкновение посылать родственникам по почте останки убитых, урну с пеплом. Как ни глупо это было, она боялась, что ей вручат сейчас такую посылку.

Зазвонил телефон. Говорил Янош: ему передавали, что она звонила ему, вероятно, она хочет провести с ним вечер. Но как раз потому, что ей самой этого смутно хотелось, она вдруг страшно, до удушья, рассердилась на него, она не могла говорить.

– Так мы, значит, проведем сегодня вечер вместе? – донесся его красивый, глупый голос.

– Нет, – возразила она резко, и, так как он оторопело спросил почему, что случилось, называл ее ласкательными именами и опять повторил свою просьбу, она сказала еще резче:

– Нет, ни сегодня, ни завтра, никогда, – и, не слушая его удивленного лепета, повесила трубку.

И ужинать она не могла, на нее нашло тупое оцепенение. Она позвонила в полицию, позвонила Гейльбрану. Поиски ведутся во всех направлениях, работают опытейшие люди, ответили ей; как только что-нибудь выяснится, ей позвонят.

Она легла спать, лежала, несчастная, в тупой безнадежности. Тело болело от усталости, но сна не было. Она погасила свет, снова включила его. Портрет Фрицхена – он опять был Фрицхеном – смотрел на нее со стола. Фрицхен уставился на нее круглыми глазами, в них был фанатизм, было отчаяние; так он смотрел на нее, когда она высмеивала его в присутствии третьих лиц. Она вспомнила, что мысленно ссорилась с ним потому, что он трусливо не позвонил ей, подчинившись ее запрету. Корила себя, что не почувствовала, какие силы помешали ему звонить. Обвиняла себя в тупости, в бесчувствии. Была минута, когда она считала себя мученицей. Вздор. Не из такого теста делаются мученицы.

Она думала о великом множестве забитых насмерть, истерзанных пытками, задушенных. Как звали последнего, которого замучили нацисты? Замучили? Сплавили, убрали, ликвидировали. Так они это называют. Как же все-таки фамилия последнего? Формис его фамилия. Да, Формис, и случилось это в Чехословакии. Завтра, значит, в газетах будет напечатано: известный журналист Фридрих Беньямин пропал без вести, подозревают, что его похитили агенты гестапо. А что потом будет напечатано в газетах? Не думать, всего не передумаешь.

Надо наконец заставить себя уснуть. Нельзя так. Мысли назойливо кружат вокруг одного и того же. Помочь ведь она ничем не может, остается только сидеть и ждать. Она принимает снотворное. Проходит бесконечно много времени, прежде чем оно оказывает действие и она засыпает беспокойным сном.

Под утро ей снится: она на лыжах. Как же так, значит, она все-таки приняла приглашение Яноша? Склон, по которому ей предстоит спуститься, очень крут, на нем лежит рыхлый, совсем уже черный снег, кое-где виднеются даже трещины. Тренер – против, да и родители ее против того, чтобы она спускалась, это безумие. Но гостиница и без того ей не по средствам, и если она не спустится по этому склону, тогда ради чего же она приняла приглашение Яноша и что подумают о ней все? Фрицхен стоит рядом, у него грустные глаза, он смазывает ее лыжи. Это, в сущности, странно, как он может смазывать ей лыжи, раз она уже прикрепила их? И отец ее тоже говорит: «И не стыдно тебе позволять этому уроду еврею вощить твои лыжи?» – Вощить, сказал он, это смешно, и говорит он с саксонским акцентом, она даже сконфузилась. Ей бесконечно страшно спуститься вниз, но ничего не поделаешь. Так всегда бывает, когда расхвастаешься, она зарвалась, и все на нее смотрят. А если она задержится, то не успеет к поезду и опоздает на похороны. Она слегка подталкивает Яноша, пусть спускается первый, на нем только коротенькие трусики, это возмутительный снобизм, ведь солнца нет, но он красив, и у Фрицхена глаза все круглее. Но когда Янош, которого она подтолкнула, съезжает вниз, она глуповато смеется, сама не трогаясь с места, и делает вид, что только хотела пошутить. Здорово она схитрила. Но Янош не так глуп, как кажется. Летит он как пуля, но внезапно останавливается, великолепно это у него вышло, и тренер тоже говорит: «Великолепно, глядите, каков наш Янош», – а Янош уже взбирается вверх, он смеется, но в то же время угрожает. Остаться наверху у нее нет больше предлога, надо съехать с горы. Вон там и в самом деле трещина, она это знала, она кричит, никто не может, конечно, заглянуть в трещину, но она все видит, в глубине поблескивает лед, она кричит, страшно кричит, не переставая; это вовсе не лед, там лежит человек, у него открытые круглые глаза; она проваливается в трещину. Янош ее не поддержал, она так и думала, и отец тоже не приходит ей на помощь, он только смешно всплескивает руками и кричит, что он так и знал, ей просто стыдно за него. А лед никак не ухватишь. Она хватается за кромку, но лед – она так и знала – рассекает толстую перчатку, режет ей пальцы, обжигает их. Она падает.

Телефонный звонок давно трещит. Вся в поту, ничего не понимая, она озирается, хватается трубку. Это голос Гейльбуна. Да, к несчастью, все подтвердилось: Беньямин увезен в Германию. Швейцарская полиция отлично поработала. Увез его действительно Дитман, это доказано неопровержимо. Его арестовали на итальянской границе по обвинению в похищении человека.

5

Зубная боль

Анна Траутвейн взглянула на часы. Двадцать минут третьего. Она охотно посидела бы еще немного с Элли Френкель, постаралась бы утешить ее. Да нельзя. Надо идти. И так уж она почти на час опоздала на вечернюю работу к доктору Вольгемуту.

Она нерешительно смотрит на Элли. Та сидит против нее, угасшая, вялая, опустив глаза на грязную скатерть. По-видимому изголодавшись, она жадно набросилась на скверные кушанья, которые подавались в этом дешевом ресторане; а теперь сидит, отупев от сытости. Несмотря на энергичные усилия и хорошо разыгранный оптимизм, Анне не удалось пробить броню тупого оцепенения, которой прикрылась Элли. Получив от нее письмо, полное отчаяния, Анна была подготовлена к тому, что найдет ее несчастной и подавленной, но она не представляла себе, что Элли так опустилась, так одинока и изнурена. Кто мог предвидеть, что богатая, холеная, избалованная Элли Френкель, которая ей, Анне, когда они вместе учились, казалась воплощением роскоши, так быстро скатится под гору; это трудно было предвидеть даже тогда, когда муж Элли, социал-демократ, погиб в концентрационном лагере и она без средств очутилась в Париже.

Но, как ни жаль ее Анне, оставаться с ней дольше нельзя. Она встает.

– Мне пора к доктору Вольгемуту, – говорит она решительно.

Элли, беспомощно глядя на нее, спрашивает:

– Ты уже уходишь?

И Анна чувствует, что так бросить ее не может. Хотя она раз навсегда решила про себя не давать легкомысленных обещаний, все же она уговаривает Элли:

– Не унывай, Элли. Мы тебя как-нибудь устроим. Я поговорю с Вольгемутом. Он, кстати, ищет помощницу.

Не успев договорить, она уже раскаивается. Правда, было бы вполне естественно порекомендовать Элли Френкель доктору Вольгемуту, который недавно уволил работницу-француженку; с такой работой, наполовину приходящей прислуги, наполовину секретаря, справится всякая. Всякая, но только не Элли. Слишком уж она беспомощна. Это лишь приведет к неприятностям для всех троих. Однако она уже пообещала. Анна с трудом подавляет вздох: мало ей своих хлопот. Но теперь по крайней мере ей легче оставить Элли одну и наконец уйти.

Анна мчится на станцию метро, протискивается в вагон, ее мнут, толкают, приходится стоять в неприятной тесноте. Она едва это замечает. Она не может забыть, с какой жадностью Элли набросилась на жалкую еду, не может забыть апатии в ее голосе, когда она рассказывала о своих злополучных попытках найти заработок. Какая она сидела померкшая, убитая. Анна же, спокойная, подтянутая, ободряла ее словом и делом, уговаривала, кормила, предлагала деньги и казалась себе воплощением благополучия и олицетворенной энергией. Да так оно и есть. Разве по своему материальному благополучию она не стоит выше Элли настолько же, насколько директор Французского банка стоит выше ее, Анны? У Элли ровным счетом ничего нет; у Анны же, во всяком случае на ближайшие месяцы, есть средства к существованию, есть крыша над головой, муж, работа, деньги. А в первую очередь – мужество и уверенность. И все же она сознает, что не только жалость взволновала ее при виде Элли, здесь было и нечто похожее на отдаленную тревогу: никто из нас не уверен в завтрашнем дне; через полгода, через год каждый из нас может оказаться в таком же положении.

Анна проталкивается вперед, старается стать поудобнее, пускает в ход локти. Вздор, Элли исключение, в ней меньше жизнеспособности, чем у большинства, она не училась ничему полезному, она не способна к языкам. Гиршберги очень хотели ей помочь и все-таки вынуж-

дены были ее рассчитывать. Она не годится в прислуги. И не только по неспособности, но и потому, что внутренне противится такого рода работе, при всей внешней готовности.

Элли слишком требовательна, вот в чем суть. Но раз так, не следовало ей ничего обещать. Ей все равно не помочь. Даже если Вольгемут согласится, он, как и Гиршберги, уволит ее через две недели, и она снова окажется в том же положении. Еще только хуже будет, потому что на новые разочарования Элли не хватит. «Слабый – умирает, сильный – сражается». Зепп прав, постоянно цитируя эту поговорку.

Вот наконец и ее остановка. Без десяти три. Она бежит под мелким мартовским дождем по узкому тротуару вдоль широкой авеню Великой Армии к дому, где живет доктор Вольгемут. Она торопится и шагает прямо по мелким лужам. Опоздала почти на целый час. Она, правда, предупредила доктора Вольгемута, да и он не из тех, кто устраивает скандалы; но он способен dokonать человека своими ироническими замечаниями, а тут она еще хочет поговорить с ним об Элли; поэтому сегодня опоздать особенно некстати.

Наконец она на месте. Она быстро надевает белый халат и заглядывает в приемную. Там полно народу, и всех к половине шестого необходимо спроводить; на этот час назначен барон фон Герке, ему нужно спилить верхние передние зубы и снять мерку для штифтовых зубов и протезов. День предстоит горячий, неблагоприятный для ее планов.

Анна вошла в кабинет.

– Лучше поздно, чем никогда, – не без приветливости прогудел доктор Вольгемут; в кресле у него сидит француженка. Вольгемут продолжает усердно работать, а кончив, велит впустить следующего пациента; он сверлит, стучит, закладывает дупла в зубах цементом, угаривает своих больных весело, сердито, любезно. От него исходит спокойствие и уверенность, и пациенты находят долговязого врача очаровательным.

Анна тем временем приступает к исполнению своих разнообразных обязанностей. Помогает кое в чем врачу, отпирает входную дверь, следит за порядком в приемной, отвечает на телефонные звонки, успокаивает нетерпеливых пациентов, записывает их на следующий прием. Доктор Вольгемут не любит, чтобы его отрывали от работы, поэтому, когда она спрашивает у него о чем-нибудь, он на нее напускается:

– Да делайте, пожалуйста, как хотите. – Но затем он долго ворчит и отменяет то, о чем она договорилась с пациентом.

Счастье, что у нее есть эта работа у Вольгемута. Но он переутомлен, капризен, нетерпелив. Нужна вся ее выдержка, чтобы ладить с ним, и все же она нет-нет да ввернет, отвечая ему, крепкое, острое словцо. «Многие пациенты мне завидуют, что я работаю с ним, – думает она. – С ними он очарователен. А придирки, капризы – все это остается на мою долю». Сегодня, именно потому что предстоит просить его об одолжении, она смотрит на него недобрыми глазами и мысленно осуждает. Его шумная, бодрая самоуверенность раздражает Анну, ей кажется, что все это от тщеславия.

Анна несправедлива. Доктор Вольгемут страстно любит свою профессию. Его специальность – пластические операции, у него зоркие глаза и умелые руки; изгнанный, как еврей, из Берлина, он быстро приобрел известность в Париже. Кинозвезды, дамы из общества, люди, которым приходилось выступать публично, доверяли ему свои челюсти, с тем чтобы он исправлял ошибки природы. Костлявое умное лицо, энергичные глаза под крепким лбом, высокий рост, фигура кавалериста делали доктора Вольгемута всеобщим любимцем, в особенности среди женщин. Он наивно радовался своим профессиональным и светским успехам, не скрывал этой радости, и Анна не совсем была не права, находя его тщеславным. Но, радуясь собственному успеху, он всегда готов был оказать услугу менее удачливому и помогал охотно, много и от души.

– Значит, в пятницу, в половине четвертого, я записала, – вежливо сказала Анна и положила трубку. «Уж и на пятницу все до минуты расписано, – с досадой думала она. – Завтра в

одиннадцать утра он демонстрирует своих больных в университете, с Югене у него работы по крайней мере на час, с Майером столько же. Послезавтра Лилиан Корона, черт бы ее побрал, получит свои фарфоровые чехлы. Опять же история часа на три. Кто увидит ее потом на экране, тому и в голову не придет, сколько труда и хлопот стоили нам ее зубы. Надо сегодня же поговорить насчет Элли; ближайшие дни у него еще более загружены. Лучше всего это сделать за кофе. Следовало бы дать ему отдохнуть в эти минуты, но уж если вообще говорить, то другого времени не найдешь».

Вот наконец половина шестого. В приемной, правда, сидят еще пациенты, но Вольгемут, к счастью, их выпроваживает, а господину Вальтеру фон Герке, который уже здесь, придется подождать. Доктор Вольгемут пьет кофе, у него небольшой перерыв.

Анна подсаживается к нему и старается улучшить удобную минутку для своей просьбы. Он держит в крепкой, пористой, огрубевшей от частого мытья руке кофейную чашку. В эти минуты передышки с ним легче всего сговориться, но нельзя обрушиться на него сразу. Пусть сначала поболтает, он это любит.

– Рабочие, присланные ЭБО для починки раковины, опять подвели нас, – сразу же начинает он. – В сущности, надо было бы покончить с этим сбродом из ЭБО. – «Эмигрантское бюро обслуживания» – так называлась организация, которая по телефонному вызову посылала рабочую силу, нуждающихся эмигрантов, для выполнения любых работ. – При всем желании с этими людьми каши не сваришь, – продолжает Вольгемут. – Вы знаете историю с дверьми? – спрашивает он и, не дождавшись ответа, начинает рассказывать.

Как-то он позвонил в ЭБО, попросил прислать мастера, чтобы исправить плохо запирающуюся дверь. Два дня спустя явилась пара, пожилые, солидные эмигранты, конечно не очень-то похожие на столяров. Они осмотрели дверь и прежде всего потребовали денег на покупку материала.

– А сколько будет стоить весь ремонт? – спрашивает Вольгемут.

– Разве можно сказать заранее? – ответили ему укоризненно. – Мы проработаем столько времени, сколько потребуется, и вы нам уплатите из расчета пятнадцать франков за час каждому.

– Ладно, – ответил Вольгемут.

Столяры вынули дверь из петель, отнесли ее на кухню и принялись за работу.

Вскоре Вольгемут услышал отчаянный шум. Он выбежал из комнаты. Стекло в кухонной двери разлетелось вдребезги, и навстречу ему пулей выскочил один из эмигрантов.

– Бога ради, господа, что это у вас здесь происходит? – осведомился пораженный Вольгемут. И пока один из них обмывал свои раны под краном, другой сообщил Вольгемуту, вне себя от негодования:

– Вы знаете, кто этот мерзавец? Он троцкист. Теперь он разоблачен. И как посмели предложить мне работать с таким типом?

– Но ведь это не я вам предложил, – сказал Вольгемут. – Никого из вас я не знаю, вас обоих прислало ЭБО. Вы пришли вместе, беритесь наконец за работу. – Но столяр никак не мог успокоиться.

– Два года, – горячился он, – я работаю вместе с ним. Но теперь он разоблачен. Он сам разоблачил себя. Никто не может от меня потребовать, чтобы я продолжал с ним работать. Такие люди, как он, и виноваты в нашем несчастье.

Но тут второй, стоявший у водопроводной раковины, снова рассвирепел и, забыв про свои раны, кинулся на противника. Доктор Вольгемут бросился их разнимать, при этом и ему попало.

– Теперь хватит, – сказал он, – убирайтесь-ка оба.

– Хорошо, – ответил столяр, – раз так, я уйду. Но сначала извольте уплатить мне за потерянное время.

– А разбитая дверь? – поинтересовался Вольгемут.

– Кто выскочил через эту дверь, – возмутился его собеседник, – я или он?

Все это доктор Вольгемут рассказал, попивая свой кофе; он рассказывал очень живо, ему, видимо, нравилась эта история. Анне она понравилась меньше. Правда, она смеялась. Но за этим смехом скрывались стыд и возмущение. Вольгемут, вероятно, кое-что приукрасил, но суть была им подмечена правильно. Таковы эмигранты, многие из них обнаглели, одичали, потеряли всякое чувство меры, они требовательны – именно потому, что им так плохо, – они смешны. Да, они докатились до того, что стали смешными, и это самое худшее. Вполне ли она, Анна, уберегла себя от этого? Если вникнуть как следует, то и в ней можно найти много смешного – ее брюзжание, ее претензии.

Какой-нибудь недоброжелатель мог бы еще так легкомысленно отнестись к эмигрантам, но Вольгемут не имел на то права. Ему следовало бы проявить больше чуткости, ему следовало бы понять, что эти люди разбиты бесконечными ударами судьбы. Кто знает, что представляли собой в Германии «столяры», пришедшие к Вольгемуту чинить дверь? Кто знает, чем они занимались, прежде чем превратиться в то, чем они теперь были? Надо же иметь снисхождение к этим людям. И, кроме того, все плохое, что говорится об одном эмигранте, бросает тень на остальных. Об этом Вольгемуту тоже следовало помнить.

– Признаться, – благодушно гудел длинноногий Вольгемут, шагая взад и вперед по комнате, – мне эти парни понравились. Просто удивительно, как много среди эмигрантов людей, не падающих духом. Все, что им приходится делать, всю свою теперешнюю жизнь они рассматривают как нечто временное. Их не интересует моя дверь, их интересует политика.

Доктор Вольгемут положительно гордится тем, что он так добродушно и притом сознательно позволяет себя эксплуатировать. Да, это подходящий момент: сейчас Анна выложит ему свою просьбу.

Она вооружилась одной из своих самых ослепительных улыбок.

– Это смешно, – начала она, – но я хотела обратиться к вам с просьбой, которая, пожалуй, только подтвердит ваше суждение об ЭБО, если вы ее исполните. – И она подробно рассказала ему историю Элли Френкель.

– Ну, послушайте, ну, знаете ли, – воскликнул доктор Вольгемут, – вы очень многого от меня требуете. Можете вы поручиться, что ваша приятельница справится с работой?

– Отнюдь нет, – ответила Анна. – Но я обращаюсь к вашему великодушию. У вас было столько печальных опытов. Имеет ли значение еще один? – Она была в ударе, она улыбалась, ее крупные красивые зубы блестели, она сверкала молодостью и свежестью; она уже не чувствовала себя эмигранткой Анной Траутвейн, обитательницей жалкого номера гостиницы «Аранхуэс»; она чувствовала себя уверенно, как в свои лучшие берлинские и мюнхенские годы.

– Какая же вы нехорошая, если еще и это хотите навязать вашему замученному шефу, – стонал доктор Вольгемут.

– Так когда Элли прийти, чтобы начать работу? – победоносно спросила Анна.

– Я надеюсь, – грозно прогудел Вольгемут, – что вы разрешите мне по крайней мере посмотреть на нее раньше, чем сговориться окончательно. Пусть придет, когда меньше всего помешает.

До сих пор Анна замечала только отрицательные качества своего шефа, отныне же она видела только его хорошие стороны. Ее улыбка уже не была профессиональной. Анна улыбалась от всего сердца. Доктору Вольгемуту доставило удовольствие рассказать историю с ЭБО, да и предстоящая встреча с господином фон Герке сулила много занятного. Поэтому оба, и Вольгемут, и Анна, вернулись в кабинет после вечернего перерыва в лучезарнейшем настроении.

* * *

Анна попросила нетерпеливо ожидавшего господина фон Герке в кабинет, и Вольгемут пригласил его сесть в зубоорачебное кресло. Господин фон Герке с достоинством опустилсч в кресло. Да, манеры у него отменные, этот секретарь германского посольства, красивый, смуглый молодой человек, с белокурыми, мягкими, густыми волосами и очень красными губами, ни в чем не уступал другим парижским дипломатам, а теперь выяснилось, что он способен сохранить непринужденность манер и в тех неприятных ситуациях, когда многие пасуют. Он сидел с легкой, любезной, отнюдь не напряженной улыбкой и терпеливо, вежливо слушал ядовито-игривые речи врача.

– Нам предстоит сегодня, – со свирепой веселостью начал доктор Вольгемут, – проделать довольно много грязной, грубой работы, и я думаю, – он повернулся к Анне, – что мы надеждем на господина барона халат. Салфетки сегодня будет недостаточно. Господин барон одет с завидной элегантностью. – (Фон Герке покорно влез в халат.) – Я надеюсь, – продолжал доктор Вольгемут с тем же ехидным добродушием, – что мы сегодня в полном порядке. Так безболезненно, как до сих пор, я уже предупреждал вас, сегодняшнее сеанс не пройдет, да и затянется он порядком. – Вольгемут подвинутил кресло и предложил господину фон Герке открыть рот.

– Дайте барону зеркало, – сказал он Анне. – Но послушайте, но поглядите, боже ты мой, что тут делается, – радостно повторял он в десятый раз, сокрушенно покачивая головой и сильно нажимая на слово «мой».

«Он готов созвать всю улицу и всем показывать мой рот», – злобно подумал фон Герке. Но по лицу его ничего нельзя было прочесть, он даже попытался улыбнуться, насколько можно улыбаться открытым ртом.

То, что барон Вальтер фон Герке, секретарь германского посольства в Париже, Шпицци, как называли его друзья, сидел в зубоорачебном кресле доктора Вольгемута, было целым событием.

Событие это имело свою длинную предысторию.

До прихода нацистов к власти господин фон Герке был незаметным, никчемным человеком. Он подвизался как гонщик-автомобилист, а время от времени и как тренер высокого класса по теннису. Своим назначением он был обязан некоей тайной «заслуге», которая сделала одного из правителей «третьей империи» его должником. Немало способствовала его назначению приятная, элегантная внешность. Несмотря на сорок один год, в нем сохранилось еще что-то дерзкое, привлекательное, мальчишеское. Лишь один недостаток нарушал благоприятное впечатление от его наружности: стоило ему открыть свои красивые, свежие губы, как показывались маленькие острые зубки, положительно крысиные, росшие к тому же вкривь и вкось. А теперь они и вовсе стали портиться, даже эмаль потускнела. Фон Герке страдал, как ему пояснили, атрофией зубных лунок, не то парадентитом, не то парадентозом, он всегда спотыкался на этом слове. Но, как бы там ни называлась его болезнь, она не только причиняла страдания и портила настроение – она еще и уродовала рот, делая красивое легкомысленное лицо порочным и старообразным. Наряду с единственной в своем роде вышеупомянутой «заслугой» лицо господина фон Герке было его ценнейшим капиталом, и поэтому надо было что-то предпринять против этого парадентита или парадентоза, проще говоря, надо было что-то сделать со своими зубами.

И вот однажды, после изрядного количества рюмок коньяку, один из его приятелей, Раймон Фонтань, знаменитый Фонтань, чья улыбка восхищала мир, сверкая с десятков тысяч экранов, в порыве откровенности поведал ему, что зубы, придававшие обаяние этой улыбке, не совсем дар природы, и в ответ на его настойчивые просьбы дал ему адрес доктора Вольгемута.

Господину фон Герке неприятно было, что кудесник доктор не «ариец». Но с национал-социалистской точки зрения большой разницы не составляло, обратиться ли к врачу-еврею или к дегенерату-французу, помеси галла с негром. При всей политической благонадежности господина фон Герке не могло быть и речи, чтобы он доверил свои челюсти какому-нибудь пинчеру-наци, одному из тех плохоньких зубных врачешек, которые шныряли по Парижу, хотя в расовом смысле у них все было благополучно. Кроме того, на сей раз необходимо преодолеть в себе расовый антагонизм даже в отечественных интересах. По роду занятий ему приходится вращаться в парижском обществе; в руководящих сферах придают большое значение тому, чтобы именно здесь, в Париже, по возможности маскировать неотесанность и грубость, свойственные новому режиму. Поэтому таким людям, как он, Шпицци, необходимо блюсти свою приятную внешность.

И вот в один прекрасный день господин фон Герке очутился в кабинете доктора Вольгемута. Вольгемут удивился. Всей душой еврей, он так же глубоко был убежден в подлости и неполноценности нацистов, как они в таких же его качествах, и то, что официальный представитель ненавистных нацистов прибегает к услугам изгнанного ими врага, доставило ему большое, веселое удовлетворение.

Предвкушая предстоящее удовольствие, он приступил к делу. Обстоятельно осмотрел зубы господина фон Герке, с неприкрытым отвращением отозвался об их эстетических изъянах, нарисовал внушительную картину их неизбежного дальнейшего разрушения, в ярких словах живописал страдания, которые господин фон Герке, несомненно, испытал в прошлом, и еще большие муки, которые предстоят ему в будущем. Без всякого перехода заговорил о поразительных успехах современного зубо врачевания, заманчиво расписал, как прекрасно можно в нынешнее время преобразить даже такой запущенный рот, как у господина барона. Прдемонстрировал это на фотографиях. Показал снимки с изображением зубов своих пациентов до и после применения своего искусства. Господин фон Герке загорелся. Самое сильное впечатление произвел на него уродливый рот киноактера Раймона Фонтаня, каким он был до того, как доктор Вольгемут искусно создал его сверкающую улыбку.

Но едва любитель потешиться доктор Вольгемут добился нужного ему эффекта, как он вдруг сделался очень холоден и стал деловито втолковывать пациенту, до чего трудно придать шик именно такому рту, как у господина барона.

– Да, – сказал он с профессиональной прямотой, – если бы задача состояла только в том, чтобы в гигиеническом смысле привести в порядок ваши драгоценные зубы, то не стоило бы говорить о таких пустяках. Но зубная косметика, особенно в вашем случае, – дело чертовски канительное и сложное. Спилить верхние зубы. Вылечить корни. Поставить протезы. Боже ты мой. Это стоит труда, времени, нервов, – он сделал выразительную паузу, – и денег. Когда дело идет о косметических операциях, публика не без основания опасается счетов Вольгемута. «Кто покупает у нас, платит дороже, но покупает выгоднее», как написано на вывеске одного универсального магазина в Лондоне, или, как говорили, бывало, в нашем прежнем Берлине: «Если хочешь смолотить свой кофе у Рафаэля, плати за это». Меня, собственно, выгнали из Берлина, господин барон, что вам должно быть безызвестно, и еще немало народу выгнали из числа тех, с кем я считаю себя связанным. Я полагаю своим долгом помогать этим людям, таков уж я, а это стоит денег. Это стоит кучу денег, почтеннейший, и потому доктор Вольгемут не принадлежит к числу дешевых врачей.

Все это длинноногий Вольгемут изложил, шагая по комнате, благодушно картавя, каламбуя, треща без умолку. Господин фон Герке, конечно, давно уже поднял голову и сидел, изящный и элегантный, в роковом кресле, вежливо, внимательно слушая. Небольшое удовольствие, конечно, глотать дерьмо, которое изрыгает этот еврей. Так и хочется встать и тихо, а может быть, и не тихо захлопнуть дверь с другой стороны. Но он уже решил доверить этому ублюдку свои зубы. В конце концов, речь идет о том, что станет на всю жизнь неотделимой, незамени-

мой частью его тела, доступной всеобщему обозрению, – тут можно пойти на жертвы. Какую подлую шутку сыграли с ним его зубы. Парадентит-парадентоз – раз уж он влопался в такую мерзкую историю, надо испить чашу до дна.

Еще и монету хочет из него выжать этот зубодер, к тому же немалую. Какая низость. Но ничего не поделаешь. В конце концов, это единовременная трата. Как-нибудь надо это устроить, и он устроит, и не такие дела он устраивал.

А уж зубоскальство этого врача ему, конечно, нипочем. Если он думает, что его грошовая ирония сколько-нибудь задевает барона фон Герке, он ошибается. Против таких вещей у Вальтера фон Герке иммунитет. Чувство собственного достоинства, мой милый, давно вычеркнуто из нашего обихода. Этой слабостью мы не страдаем. Впрочем, кто постоянно ковыряется во рту у других людей, кто мочит пальцы в чужой слюне и вдыхает чужое дыхание, тому следует помалкивать, когда речь идет о достоинстве. Наглые выходки такого субъекта господин фон Герке может с чистой совестью пропустить мимо ушей.

И он спокойно дал Вольгемуту договорить, сохраняя равнодушное выражение лица, и даже больше того: высокомерно задрав нос, он сложил свои очень красные губы в легкую, любезную, ироническую улыбку, и, когда доктор Вольгемут наконец замолчал, господин фон Герке ограничился лишь надменным, как бы вскользь брошенным вопросом:

– Сколько же эта штука должна стоить?

– Тридцать тысяч франков, – так же вскользь бросил доктор Вольгемут.

От этой бессовестной цифры у господина фон Герке все же дух захватило. Но только на ничтожную долю секунды. «Не следует покупать дешевых вещей», – пронеслось у него в мозгу еще до истечения секунды. «Что дешево, то гнило», частенько говорила мамаша. Я и сам не раз в этом убеждался. Чем дороже купишь, тем дешевле это обходится. Другой сделал бы, несомненно, дешевле, но, возможно, и хуже. Когда дело идет о собственных зубах, не останавливайся ни перед какими затратами. Этот малый – мастер своего дела. Иначе он не запрашивал бы таких цен, да еще так нагло.

– Идет, – сказал господин фон Герке, все тем же холодно-вежливым тоном. – Тридцать тысяч франков. Сколько же это продлится и когда можно начать? – деловито осведомился он.

Доктору Вольгемуту было немножко досадно, что этот нацист не возражал и не торговался.

– Раньше, чем недели через две, – холодно ответил он, – я не смогу заняться вами. Затем в первую неделю вы мне будете нужны ежедневно, но только для коротких сеансов, для подготовки. После этого я спилю вам передние зубы, и вы правильно сделаете, если всю следующую неделю проведете в уединении. В обществе вам лучше не показываться, прежде чем я не вставлю вам новые зубы. Я считаю, что нам придется иметь дело друг с другом добрых три недели. Приятным это время нельзя будет назвать.

– Ладно, – ответил все так же непринужденно господин фон Герке и поднялся.

– Кстати, я просил бы вас, – непочтительно остановил барона почти у самой двери доктор Вольгемут, – внести половину гонорара до начала лечения. Вторую половину нужно будет погасить до того, как я окончательно вставлю вам зубы.

– Вам, вероятно, часто приходилось иметь дело с жуликами, – еще вежливее прежнего произнес фон Герке.

– Правильно, – добродушно прогудел доктор Вольгемут. – В Берлине среди моих пациентов было много ваших единомышленников. Но кое-кто из них все-таки заплатил.

После такого обмена любезностями они расстались. Вечером господин фон Герке долго и задумчиво разглядывал в зеркале свое красивое, наглое лицо, очень красные губы, мягкие белокурые волосы, гладкую, холеную смуглую кожу и еще задумчивее всматривался в маленькие, острые, испорченные, крысиные зубки. Он заранее испытывал все те муки, которые проорочил ему и так образно описал доктор Вольгемут, на случай если он не приведет в порядок

свои зубы. «Пойти разве к специалисту-французу, – размышлял он. – Но я чувствую, что на эту свинью можно положиться. Если эта скотина будет дерзить, придется смириться и стиснуть зубы, насколько это возможно в таком состоянии. Париж стоит бедни». Да, у Шпицци спокойный, покладисто-наглый характер, поэтому он может себе позволить юмористически воспринимать заносчивость этого убожества Вольгемута.

Остается вопрос о тридцати тысячах франков. В разговоре с Вольгемутом эти тридцать тысяч франков были для Шпицци мелочью, *quantité négligeable*⁴. Но в данный момент это настоящая проблема, и над ее разрешением Шпицци приходится хорошенько поломать голову. Правда, в его активе значится упомянутое «деяние», «заслуга». Медведь – его должник, а одного слова Медведя достаточно, чтобы устранить с пути Шпицци любые препятствия. Но когда Медведь подкинул ему пост секретаря посольства, он сказал: «Я посадил вас в седло, а уж дальше извольте скакать самостоятельно». Ну, так только говорится, Медведь обязан о нем заботиться. Шпицци может показать свои когти, если тот его не поддержит. И все-таки глупо из-за каких-то паршивых тридцати тысяч франков брать в оборот Медведя. Пока что возьмем-ка в работу нашего старого, честного Федерсена.

Федерсен был директором парижского отделения германского Среднеевропейского банка. При заключении последнего торгового договора Шпицци оказал Федерсену услуги известного рода, за что Федерсен в свою очередь платил Шпицци известного рода одолжениями. На этот раз господин Федерсен оказался не очень сговорчив; со свойственным ему шумным благодушием он заявил, что положение Шпицци в германском посольстве, как ему кажется, несколько пошатнулось, а потому сомнительно, сможет ли Шпицци впоследствии, если понадобится, отплатить услугой за услугу.

На настойчивые расспросы Шпицци, на чем основано такое мнение, господин Федерсен сказал, что слышал из хорошо осведомленного источника, будто на улице Лилль, другими словами в германском посольстве, затрудняются указать хотя бы на одну успешную операцию, которую можно было бы занести в актив господина фон Герке; при таких обстоятельствах господину фон Герке будет нелегко удержаться на столь ответственном посту. Шпицци только улыбнулся. Этот хорошо осведомленный источник мог бы адресоваться к еще более осведомленному и узнать, что в активе у Шпицци есть такая статья, которая заранее погашает все его настоящие, прошлые и будущие векселя. Шпицци – фаталист, он убежден, что реже раскаиваешься в том, чего не делаешь, чем в том, что делаешь; к тому же он флегматик от природы. И все же «заслуга» перестанет быть заслугой, как только придется на нее сослаться, благодарность – одна из тех вещей, которые очень быстро старятся. Медведь предложил ему в будущем «скакать самостоятельно», не мешало бы, следовательно, заставить замолчать хорошо осведомленный источник. Вздыхнув, господин фон Герке решил какой-нибудь новой заслугой положить конец толкам о своей бездеятельности.

Он стал размышлять. Недавно один из его агентов, некто Дитман, сделал ему предложение, довольно заманчивое, правда, но не лишенное риска. Шпицци оттягивал ответ, действуя согласно принципу, заимствованному у феодальной Испании: «Маñana – лучше завтра». Несколько дней назад Дитман повторил свое предложение, подчеркнув, что вряд ли вторично представится столь благоприятный случай сварганить дельце, и настаивал на ответе. Состояние зубов Шпицци, мнение хорошо осведомленного источника, необходимость раздобыть тридцать тысяч франков – это ли не вызов судьбы? Волей-неволей он преодолел свои сомнения и, заменив собственный принцип лозунгом фюрера, решил пойти на риск.

Некто Дитман получил, таким образом, желательный ответ, в актив господина фон Герке была занесена еще одна статья, хорошо осведомленный источник переменил свое мнение, гос-

⁴ Величина, которой можно пренебречь (*фр.*).

подин директор банка Федерсен снова был к его услугам, и Шпицци в назначенный день мог явиться к доктору Вольгемуту с чеком в кармане.

* * *

Так он оказался сегодня в зубоврачебном кресле. За время подготовительных сеансов он привык к свирепой веселости этого зубодера, и его не удивляло более, что Вольгемут раньше, чем спилить злосчастные зубы, опять шумно любовался ими. Шпицци спокойно отнесся также и к тому, что еврей, по-видимому, с наслаждением созвал бы всю улицу, всем и каждому продемонстрировал бы отвратительные зубы национал-социалиста фон Герке. Более того, он послушно разглядывал в зеркале эти зубы, как того потребовал врач. Ведь это в последний раз, еврей сейчас приступит к делу, сегодня вечером самое худшее останется позади. «И самый твой тяжелый день пройдет».

Доктор Вольгемут исчерпал весь запас колкостей, которыми мог лишний раз уязвить мсье барона, и принялся за работу. Засунул пациенту вату между челюстью и щекой, пустил в ход зажужжавшую бормашину и начал до самых корней спиливать неприличные зубы господина фон Герке, который только крепко ухватился обеими руками за подлокотники кресла.

Шпицци сидел в кресле, одетый в халат, откинув голову, с разинутым ртом, всецело во власти Вольгемута. Нёбо, застывшее от обезболивающей инъекции, пересохло, Шпицци судорожно пытался глотнуть, характерное лицо Вольгемута с горящими глазами и густой черной шевелюрой наклонилось над ним, машина жужжала, боли не было, но ничего приятного в шуме, отдававшемся в голове, тоже не было. В сущности, он опасался, что будет много хуже. И так как опасения его не оправдались, Шпицци, слушая трескучий офицерский голос доктора Вольгемута, сыпавшего колкими каламбурами, отдался прихотливому течению своих мыслей.

«Стоит ему захотеть, – думал Шпицци, – и он может изуродовать меня на всю жизнь, поди потом доказывай. В сущности, ужасно неосторожно было довериться ему. Нет, вряд ли он рискнет. Уж очень пострадала бы его репутация. Но он мог бы и не так еще меня помучить. Попадись, например, мне в руки человек, причинивший мне столько бед, сколько причинили мы им, я обошелся бы с ним иначе. Он мог бы меня сейчас так обработать, что я забыл бы, кто я, национал-социалист или еврей, поди потом доказывай. У него нет темперамента, он просто тряпка, добродушный дурак, он не принадлежит к господствующей расе, он, слава тебе господи, убудок».

В сущности, замечательные вещи можно теперь проделывать с зубами. Унификация зубов. Мы его одолели, этот парадентит-парадентоз, с помощью нашей северной хитрости. Дух изобретательства могуч в человеке. Нет ничего могучее человека. Как, должно быть, в прошлые времена страдали от парадентита. Сто лет назад такая красивая физиономия, как моя, была бы обезображена на всю жизнь.

Тридцать тысяч франков. Он, конечно, нагло лжет, будто помогает эмигрантам. С ума он сошел, что ли. Гнусный еврей-ростовщик. Собственно, мне следовало бы питать к этой свинье глубокое отвращение. Но видно, мой боевой дух несколько ослабел. Этот еврей мне совсем не противен, наоборот, он мне очень симпатичен, хотя он вел себя со мной, точно он сам Геббельс.

До чего он усердствует. До чего потеет. Тут одной физической энергии уйдет на тридцать тысяч франков. Отвратительная работа. Когда-то зубодеров относили к одному цеху с брадобреями. А теперь их принимают за полноценных людей.

Если он действительно отдаст эти деньги эмигрантам, если он решил утереть мне нос, да еще и гордится этим, то и я ему основательно напакостил. Вот уж действительно никогда не знаешь, смеяться или плакать. По-моему, со стороны это похоже на курьез: славный Бенямин оплачивает издержки, которые мне приходится нести в пользу эмигрантов.

В самом деле совсем не больно. Хотя приятного мало.

Как это Дитман попался, черт его побери. Очень уж глупо. До сих пор он не давал маху. Сначала, казалось, все шло как по маслу. Возмутительное свинство».

По существу Шпицци не желал редактору Беньямину ни худа, ни добра. Шпицци не знал больших страстей. У него была только одна действительная потребность – веселиться. И он считал, что добиваться от общества удовлетворения этой потребности – его право. Уж она одна оправдывала поручение, данное Дитману. Но теперь, когда дело осложнилось, Шпицци испытывал нечто вроде неприятного похмелья.

И все-таки не комично ли: зубодер Вольгемут гордится, что выжал у него, у нациста, крупный денежный куш для эмигрантов, между тем как раздутый счет этого еврея лишь содействовал похищению славного Беньямина. Если представить себе связь событий, то получается великолепная шутка. Медведь – охотник до таких шуток. Достаточно рассказать ему об этой потехе, и Шпицци опять будет пользоваться его благоволением.

Такие мысли бродили в голове господина фон Герке, пока доктор Вольгемут возился с его челюстями, сверлил, подтачивал, пилил. Наконец он вынул вату и позволил Шпицци закрыть рот.

– Полощите, – приказал доктор Вольгемут.

Шпицци охотно повиновался. Он прополоскал рот, провел языком по тому месту, где еще несколько минут назад торчали зубы. Было очень странно касаться языком беззубых десен, ощущать неровные, окровавленные пеньки, чужие, безжизненные от наркотического снадобья.

Затем Вольгемут принялся за корни: по его выражению, он производил уборку в каналах корней. Действие наркоза ослабело; нёбо у господина фон Герке стало пощипывать. Доктор Вольгемут еще долго и деятельно возился во рту мсье барона. Он зажимал ему зубы и пеньки маленькими тугими кольцами, которые врезались в десны, снимал восковые оттиски и делал гипсовые слепки челюстей – приятным это занятие нельзя было назвать.

Работая без устали, доктор Вольгемут рассуждал по поводу новых зубов мсье барона:

– Время от времени я хожу в театр и любуюсь своими зубами. Я, конечно, имею в виду зубы Раймона Фонтаня. Откровенно говоря, я недоволен ими. Они слишком ослепительны, слишком красивы. Таких красивых зубов не бывает. У господ бога они столь совершенными не получаются, сотворить такие зубы может только доктор Вольгемут. Долго я бился с упрямцем. «Красивее, когда не так красиво», – объяснял я ему. Но с этими актерами сладу нет. Очень уж они тщеславны. Не повторяйте той же глупости, мсье барон. Советую вам, пока не поздно. Я даю вам хороший совет. По-моему, если хотите знать мое мнение, те зубы, которые вы выбрали, слишком блестящи. Не надо, чтобы ваши драгоценные новые зубы были чересчур красивы. Посмотрите: вот эти на полтона тусклее, на полтона желтее. Они вернее произведут впечатление настоящих.

– Лучше все-таки те, блестящие, – прошамкал беззубым ртом господин фон Герке.

* * *

Только около девяти часов вечера доктор Вольгемут отпустил наконец Шпицци; он и сам очень устал, но был доволен. Он разглядывал чек, врученный ему господином фон Герке; это была вторая половина гонорара – чек на пятнадцать тысяч франков. Он с любовью оглядел его, потом запер в ящик. Завтра фрау Траутвейн чистенько напишет адрес, и деньги будут отправлены комитету помощи немецким эмигрантам. Доктор Вольгемут горд, что сумма так велика, и еще более – что он так остроумно и хитро вытянул у Герке деньги. «Вероятно, так же, как себя чувствует сейчас мсье барон, – думал Вольгемут, – чувствовал себя в свое время канцлер Аман, когда вел через весь город под уздцы любимого коня царя Ахашвероша, на котором восседал торжествующий Мардохей, и скрепя сердце славил перед всем народом этого Мардохея».

Доктор Вольгемут ошибался. Господин фон Герке отнюдь не чувствовал себя, как в свое время канцлер Аман.

Он поехал домой, лег в постель, принял болеутоляющее и велел принести себе бутылку старого вина. Ему заметно полегчало, совсем не так уж неприятно было провести вечер дома и в полном уединении. Он просмотрел вечерние газеты, потом отобрал несколько книг – давно, хотя бы в порядке выполнения служебных обязанностей, ему следовало их прочитать – и остановился на романе, автором которого был большевистствующий литератор, а темой – судьба германских антифашистов. Господин фон Герке читал с интересом, не без эстетического удовольствия, временами сильно увлекаясь.

В книге упоминалось о судьбе писателя Теодора Лессинга, которого «ликвидировали» национал-социалисты, и господин фон Герке, читая это место, подумал о редакторе Беньямине. До чего глупо, что эта история не прошла гладко.

Он откинулся на подушки и машинально провел языком по пенькам, временно заложенным ватой и залитым воском. Через две недели, самое позднее – через три он сможет показаться в кругу приятелей в блеске новых зубов: он будет смело улыбаться ослепительной, сияющей улыбкой. Мысли о редакторе Беньямине исчезли. Шпицци приподнялся, отхлебнул несколько глотков бургундского, снова взялся за книгу. Роман большевистствующего писателя захватывал его все больше и больше. «В сущности, – подумал он, – писатели-эмигранты должны быть нам благодарны за великолепные сюжеты, которые мы им поставляем».

6

Искусство и политика

Хотя Зепп Траутвейн после исчезновения Беньямина первый заподозрил, что тут замешана германская полиция, его словно громом поразили официальное сообщение швейцарской полиции и арест Дитмана, подтвердившие его догадку.

Он думал, что для него такие слова и понятия, как беззаконие, нарушение человеческих прав, насилие, значили всегда больше, чем для других. После похищения Фридриха Беньямина он убедился, что раньше и для него это были лишь слова. Только теперь они стали реальностью. Он видел, он осязал беззаконие, оно хватало его за горло, душило. В «третьей империи» произошло немало гнусного, невообразимо жестокого, что близко коснулось его; у него были друзья среди убитых, среди заключенных в концлагерях. Все это бледнело перед похищением Беньямина.

Его охватила ярость против похитителей. Он ругался нещадно. Ругал и Беньямина. «В Базель ему приспичило, в пограничный город, этакий болван, этакий круглый идиот, такая чугунная башка», – бранился он, и себя он ругал за то, что не отговорил его от поездки. Но, несмотря на эту ругань, всю его неприязнь к Беньямину, добродушное презрение к его сиба-ритству, к рабской зависимости от Ильзы смыло без следа. Их сменила огромная щемящая жалость к исчезнувшему. Образ Беньямина с каждым днем становился для него все более светлым, ему казалось, что он в чем-то виноват перед Беньямином. Он смеялся над собой, но от чувства вины избавиться не мог.

В редакции ему отвели стол Беньямина. Это был потертый письменный стол, похожий на тысячи других, но он внушал Траутвейну, не знавшему ранее подобных ощущений, какой-то суеверный страх. Присутствие отсутствующего Беньямина он ощущал более непосредственно, чем это было когда-либо в действительности. Когда он садился за его стол, ему казалось, что в кресле сидит бесплотный призрак его предшественника. Он старался представить себе реального Беньямина таким, например, каким он сидел против него за столиком в ресторане «Серебряный петух», – жующим, вытирающим рот салфеткой, но ничего не выходило; даже этот смакующий свою еду Беньямин, живший в его воспоминании, становился бесплотным, от него исходил слабый зеленоватый свет, каким в детских пьесах, которые Траутвейн видел мальчиком, освещались привидения; этого Фридриха Беньямина и каждое его слово сопровождала, точно Каменного гостя, тихая, страшная, призрачная музыка.

Траутвейн никогда не любил Ильзу Беньямин, но он не мог забыть звука ее голоса, когда она сказала: «Ну помогите же мне». Этот голос каждый раз вновь жалил его и вновь вызывал сострадание и гнев. Ему мерещились караульные и полицейские, он видел, как они набрасываются на Фридриха Беньямина, видел этих тупых, грубых жителей деревень и городских предместий, откуда вербовались полицейские, которые теперь тешились над ненавистным евреем, давая волю своим темным инстинктам.

Так думал и чувствовал Зепп Траутвейн, когда Гингольд предложил ему окончательно занять в редакции место Фридриха Беньямина. Предложение это взволновало Траутвейна. Он знал: если он примет его, придется надолго забросить музыку.

Но совесть не позволяет ему отклонить предложение Гингольда. Как один из редакторов «Парижских новостей», он будет ближе к источникам информации о Фридрихе Беньямине, сможет быстрее предпринять необходимые шаги, войти в контакт с крупными европейскими газетами, успешнее бороться за дело Беньямина. А дело это не оставляло его в покое. От увиденного, замученного Фридриха Беньямина, от его письменного стола, даже от его неприятного голоса, звучавшего в ушах у Зеппа, исходила магическая сила, против которой он тщетно боролся, взывая к своему рассудку.

В состоянии полной нерешительности, какой он еще никогда в жизни не испытывал, он попросил дать ему время на размышление.

Обсудил этот вопрос с Анной. Она стала отговаривать его с горячностью, какой он никак не ожидал.

– Что? – негодовала она. – Они собираются целиком запрячь тебя в эти смехотворные «Парижские новости»? Они смеют требовать от тебя, чтобы ты совсем забросил свою музыку? Они, верно, рехнулись.

Зепп, раздосадованный ее горячностью, ответил:

– Мне предлагают штатное место в редакции. Неужели это дерзость? Они найдут сотни охотников, которых стоит только поманить пальцем. И опасение, что мне придется отказаться от музыки, совершенно неоправданно, преувеличено. Отказаться придется разве от преподавания в Академии, ну да и бог с ним. А для «Персов» у меня останется масса времени.

Анна хорошо знала своего Зеппа и видела, что он сам не верит в свои слова.

– Ты сам в это не веришь, – безжалостно отметила она. – «Персы» уж и так немало пострадали от твоих дурацких «Парижских новостей». Кому нужно, чтобы твоя политика окончательно тебя съела? Ты ведь всерьез и сам этого не хочешь. Борьба против нацистов – хорошее дело, бесспорно, и это – твое дело. Но, уехав из Германии и все бросив, ты, право, сделал уже достаточно. Нет нужды окончательно похоронить себя в этой захудалой газетке.

Разумом он понимал, что она права. Но о том, что не давало ему покоя, о своем неукротимом желании помочь Фридриху Беньямину, он не мог ей сказать; он почти стыдился непонятной страстности своего чувства.

– Пойми, старушка, – осторожно начал он, – вот, например, это дело Беньямина. О нем у меня просто потребность писать. Тут у меня есть что сказать.

– Но ты можешь все сказать, и не продавшись душой и телом «Парижским новостям», – нетерпеливо перебила его Анна.

– Ведь мне нужен материал, – пояснил Зепп, – материал из первых рук, а его я могу получить, только сидя в аппарате редакции. Добиться чего-нибудь в деле Беньямина можно одним – непрерывно показывать, что нацисты лгут, систематически раскрывать ложь за ложью.

– Я тебя не понимаю, – покачала головой Анна. – Мы все жалеем Беньямина, все негодуем. Но в конце концов, в лапы гитлеровских молодчиков попадали люди и более близкие нам. Ты хлопотал за них, обивал пороги. Но ты и не думал отказываться от дела своей жизни, забросить музыку. И вдруг теперь?..

Зепп и сам говорил себе, что его самопожертвование бессмысленно. Анна права, разумом он соглашался с ее доводами, но ничто не помогало. Анне легко так разумно рассуждать. За других всегда разумно рассуждаешь, на себя же разума никогда не хватает. Так уж оно есть, половина всех поступков, совершаемых так называемым разумным человеком, диктуется подсознанием наперекор разуму. Это понимаешь в ясные минуты, на деле же всегда следуешь темным голосам, имеющим мало общего со здравым смыслом.

Так как ничего лучшего ему в голову не пришло, он сказал:

– Наконец, мне хотелось бы иметь возможность больше вносить в наш бюджет. Не жить же мне вечно на твой счет. – Но он не успел кончить, как спохватился, что сделал большую бестактность. И в самом деле – Анна сверкнула на него сердитым взглядом.

– Зачем ты мелешь такой вздор? – сказала она. – С каких пор ты заришься на деньги? Забросить «Персов» ради нескольких сот франков в месяц? Да если я добьюсь от дирекции радио согласия на передачу «Персов», это одно даст больше, чем ты за полгода выжмешь из твоего Гингольда. Будь же благоразумен, Зепп, – просительным тоном добавила она, – ты проявил достаточно мужества тем, что по приходе Гитлера сразу сделал правильный шаг. Ты послужил примером для многих, и это важнее сотни статей. Заниматься изо дня в день политической политикой ты не способен. Предоставь это, прошу тебя, профессионалам-политикам

и профессионалам-журналистам. Здесь нужны хитрость да увертка, а это не по твоей части. Для таких вещей ты слишком непосредствен, слишком порядочен. Ты хочешь конкурировать с Гитлером. В наше время, чтобы отстоять правое дело, чтобы привлечь массы на сторону правого дела, требуется быть одновременно и Христом, и Макиавелли.

Зепп рассмеялся:

– Не говори афоризмами, старушка. С меня достаточно ясно представлять себе, чего я хочу, и хорошо писать об этом.

Анна поняла, что имеет дело с чем-то глубоко затаенным и что доводы рассудка тут бессильны.

– Очень прошу тебя, – сказала она настойчиво, и у Зеппа потеплело на душе от ее прекрасного, звучного голоса, – не ввязывайся ты в политику еще сильнее. Ты сам часто говорил, что хорошее искусство – это лучшая политика. Достаточно тяжело, что я не могу тебе помогать в твоей большой работе; для меня это ужасное лишение. Нельзя допустить, чтобы ты оторвался от музыки. Творить музыку – твое призвание. У меня таланта нет, я не стою того, чтобы жалеть, что я трачу себя на противную черную работу у доктора Вольгемута. Но ты, – если ты закабалишься Гингольду и «Парижским новостям», если ты возьмешься за работу, которую другие могут делать лучше тебя, вместо музыки, которую можешь делать только ты, это будет безумием.

Зепп не хотел сознаться себе, что слова Анны произвели на него впечатление.

– Невысоко же ты ставишь мою журналистскую работу, – не то шутя, не то обиженно протянул он. – Кто тебя уверил, что это никуда не годная дрянь? Ну а что ты скажешь, если я все-таки вырву Фридриха Беньямина у нацистов?

Она не поддержала его шутливого тона.

– Дай мне слово, – сказала она, – что ты еще раз подумаешь, прежде чем сделаешь решительный шаг. – Он дал слово и мысленно поклялся еще раз основательно все обдумать. Но в глубине души он знал, что это все равно ни к чему.

Он обещал Гингольду завтра утром дать окончательный ответ. Наступил вечер, а он все так же колебался, как в первую минуту. В нем все еще боролись «да» и «нет» – голос чувства и голос рассудка.

Он решил поговорить со своим другом Оскаром Чернигом.

* * *

Многие находили Оскара Чернига интересным, но всерьез его почти никто не принимал. Зепп Траутвейн горячо любил Чернига, его самого и его стихи. Независимость Чернига, его анархизм, его нигилизм влекли к нему Траутвейна. Анна глубоко чувствовала прелесть его стихов; но все, что Зеппу нравилось в Оскаре Черниге, Анну отталкивало. Она возмущалась его цыганскими наклонностями, его ленью, увиливанием от обязанностей, которые накладывал на него талант. Всю свою жизнь этот теперь уже сорокалетний человек только и делал, что читал, слушал музыку, смотрел картины, гулял, время от времени спал с какой-нибудь женщиной, обо всем и обо всех спорил. Разве это жизнь? Разве талант освобождает человека от обязанностей по отношению к себе и к окружающему миру?

Траутвейн только смеялся, слушая Анну. Потому-то ему, может быть, и нравился Черниг, что тот во всем был иным, чем он; ему нравилось все, что Черниг делал, вся жизнь этого человека, его замашки, его стихи, его проза. Оскар Черниг, по его мнению, один из немногих, кто понимает, что он, Зепп, хочет сказать своей музыкой. А Черниг – судья суровый, несговорчивый, дерзкий, он презрительно отвергает большую часть созданного Зеппом и только немного расценивает как ростки истинной музыки – «классической, математической». «Опиум, профессор, – говорил он иногда, прослушав какую-нибудь новую вещь Траутвейна, – чистейший

опиум. Порой вы опускаетесь до Рихарда Вагнера. На двенадцати страницах, которые вы только что сыграли, в лучшем случае найдется тактов десять настоящей музыки». Так строго он судил не только о музыке Траутвейна, но и обо всей его деятельности.

В Германии Черниг существовал на небольшую ренту, выделенную ему родственниками, и вел цыганский образ жизни. В изгнании рента настолько уменьшилась, что он окончательно опустился. Траутвейн помогал ему чем только мог, но он мало что мог. В конце концов Чернигу пришлось искать пристанища в бараках для беднейших эмигрантов, построенных одним из комитетов помощи. Этот последний поворот колеса фортуны он принял со стоическим цинизмом, как подтверждение своей горькой всеотрицающей мудрости.

Для того чтобы добраться до бараков, Траутвейну пришлось проехать значительное расстояние на метро, а затем еще минут двадцать идти пешком. Он очутился в унылом городском предместье, многоэтажные облезлые дома-казармы перемежались здесь с голыми пустырями, улицы были грязны и запущенны. Но он ничего этого не замечал и торопливо шел, почти не поднимая головы, сквозь пронизывающе-сырой, невеселый мартовский вечер. Наконец он увидел перед собой длинный ряд низких, безобразных бараков. Сторож долго ворчал и подозрительно оглядывал Зеппа, прежде чем впустить его в такой поздний час.

Зеппу Траутвейну приходилось бывать у Чернига, но только днем. Уж на что он был равнодушен к внешним благам жизни, но у него мороз пробежал по коже, когда он увидел в резком свете ничем не затененной электрической лампы всю безотрадность помещения, где Черниг, загнанный сюда вместе с двадцатью другими бедняками, проводил свои дни и ночи. Тесно сдвинутые матрацы лежали прямо на полу, покрытые тонкими, грязными, дырявыми одеялами, в стены было вбито несколько крюков и гвоздей, на которые обитатели барака могли вешать свое платье, для прочих же пожитков места не было. Отвратительный, удушливый воздух стоял в голом, большом и все же тесном помещении, вдвойне унылом при ярком электрическом свете.

Черниг лежал на матраце, заложив красные руки под лысую голову, ленивый, апатичный. Увидев Траутвейна, он слегка приподнялся.

– Пробирайтесь сюда, профессор, – крикнул он ему кротким, тоненьким детским голосом: он всегда величал людей, с которыми разговаривал, их полным титулом. – Шагайте спокойно по матрацам, они от этого только лучше станут. Садитесь ко мне на постель, другого места я вам предложить не могу.

Траутвейн последовал его приглашению. В неудобной позе, высоко подняв острые колени, сидел он на матраце Чернига. Черниг снова улегся, его бледное лицо, рыхлое, веснушчатое, плохо выбритое, коротконосое, было обращено к Траутвейну, выпуклые глаза, блестящие под огромным, переходящим в лысину лбом, щурились на свет.

– Очень мило, профессор, что вы заглянули ко мне, – сказал он. – Мне хочется немедленно вас вознаградить. Я придумал три строфы для «Персов». Три строфы для описания битвы, ведь они нас никогда не удовлетворяли. – Он говорил не очень громко, вероятно, для того, чтобы не слышали соседи, с любопытством и неприязнью оглядывавшие Траутвейна. Как ни близко он сидел, ему приходилось напряженно вслушиваться, чтобы понять Чернига. Зеппу было не по себе.

Черниг, работавший над текстом для «Персов», не допускал в вопросах искусства ни малейшей небрежности и годами отшлифовывал каждый стих. Это было именно то, чего желал себе Траутвейн, и ему всегда доставляло радость говорить с Чернигом о его стихах. Сегодня, однако, дело, по которому он пришел, настолько его занимало, что ему трудно было думать о «Персах», да и резкий свет мешал сосредоточиться.

Ему просто невольно было в этой обстановке продолжать разговор с Чернигом.

– Послушайте, – взмолился он, – пойдёмте куда-нибудь. Я не в состоянии разговаривать здесь всерьёз.

– Напрасно, – мелодичным голосом насмешливо сказал Черниг. – А вот мне приходится жить здесь всерьез.

Траутвейн продолжал настаивать. Черниг пояснил:

– Тут есть такая штука, которая называется «внутренний распорядок». Человека на каждом повороте его судьбы встречает какой-нибудь новый главный враг. Здесь это – внутренний распорядок. Меня удивляет, профессор, как вы умудрились проникнуть сюда в такой поздний час. После семи вечера подвергаешься ряду допросов, прежде чем войти в барак или выйти отсюда.

В конце концов они все-таки собрались и, уломав кое-как сторожа, вышли на улицу.

Они побрели по грязному, запущенному пустынному предместью. На Черниге было ветхое, дырявое непромокаемое пальтишко, грязно-красный шерстяной шарф он обмотал вокруг шеи. Видно было, как он дрогнет от ночной сырости. Траутвейн решил, что для задуманной беседы надо поискать теплый уголок. На высоком доме, одиноко торчавшем посреди унылых пустырей, светилась электрическая вывеска кафе «Добрая надежда». Они вошли.

Это было ярко освещенное помещение, насквозь пропитанное запахом прогорклого масла, но зато теплое. У стойки несколько мужчин шумно разговаривали с хозяином, за одним из столиков пестро разряженная девица сидела рядом со стариком, радио оглашало воздух танцевальной музыкой. Траутвейн заказал для Чернига стакан глинтвейна, для себя – пиво; они сидели, наслаждались зловонным теплом, попиwali из своих стаканов.

Черниг, одутловатый, похожий на гигантского раскормленного недоноска, с капельками пота на лысине, с косо торчащей в лягушачьих губах сигарой, произносил надменные, полные аристократического нигилизма речи об искусстве. Траутвейн слушал его. Обоим было хорошо. Наконец Черниг вытащил рукопись – стихи, написанные им за последнее время, популярные стишки, как он их назвал, со скидкой на глупость толпы; среди общего гомона тонким голосом он прочел Траутвейну неистовые, сумасшедшие стихотворные строки, проникнутые презрением, горечью, отчаянием, изображающие мир грязным сосудом, наполненным глупостью, страхами, суетностью, похотью.

Черниг старается придать своему лицу равнодушное выражение, но Траутвейн знает, как он взволнован, ибо он читает свои стихи ему – единственному другу и ценителю. В цинизме их Траутвейн угадывает муку и тоску униженного поэта. Чернигские стихи взбудоражили его, они всегда будоражат его, у них свой собственный голос, их сразу же отличишь среди всех стихов мира. Вот он сидит напротив, замызганный и засаленный, в ярком свете видна каждая щетинка на его небритом лице, его дыхание нечисто. Посетители, как их ни мало, шумят, Черниг, стесняясь того, что он читает свои стихи, понижает и без того слабый голос, и Траутвейну приходится напрягаться, чтобы не упустить ни слова. Он весь напряжен, эта поэзия волнует его, как обычно только очень высокое искусство, и, слушая кроткий, насильственно замороженный голос, он среди шума и вонючего угара кабака отдается нахлынувшим звукам, музыке. Как ни язвительно издевается Черниг над его мещанством, Траутвейн знает, что их связывает глубокая, благородная близость.

– Хорошо, – говорит он, когда Черниг кончает чтение, – превосходно.

– Это я и сам знаю, – кротко и надменно отвечает Черниг. – Я прочитал вам стихи, о мой доброжелатель, не для того, чтобы вы их похвалили, а для того, чтобы вы раздобыли мне за них гонорар. В последнее время вы что-то мало заботились о вашем покорнейшем ученике. К несчастью, я опять на мели.

Черниг прав. Траутвейн мог бы использовать свое положение в «Парижских новостях» и устроить его стихи. Конечно, требуется энергия, чтобы отстоять такие циничные стихи, а он всю энергию вложил в дело Беньямина. Но если он согласится на предложенную работу в редакции, он сможет кое-что сделать и для Чернига. Его постоянное физическое присутствие

в редакции в этом смысле важнее, чем качество стихов Чернига. Это лишняя причина принять предложение Гингольда.

– Если вас интересует настоящая литература, профессор, – продолжал между тем Черниг, – советую почтить своим присутствием нашу ночлежку. С некоторых пор подлинная литература нашла себе убежище именно там. Мы недавно заполучили туда молодого человека, он откликается на неблагозвучное имя Гарри Майзель, и ему всего девятнадцать лет. Профессор, что за прозу пишет этот юноша – она, пожалуй, не уступает моим стихам.

– Дорогой Черниг, – виноватым тоном начал Траутвейн, – излишне говорить вам, как трудно устроить ваши стихи в каком-нибудь почтенном благонамеренном органе. Впрочем, возможно, что в скором времени я кое-что смогу сделать для вас. – И он рассказал Чернигу о «Новостях», о своих колебаниях и сомнениях. Он говорил с ним свободно, свободнее, чем с Анной, он очень откровенно говорил с этим своим другом о разуме, отговаривающем его, и о чувстве, толкающем его принять предложение.

Черниг не прерывал его. Часы, проведенные в живой беседе с Траутвейном, были его лучшими часами, и он предвидел, что, если Зепп войдет в состав редакции, эти редкие часы будут еще реже. Его бледное лицо стало совсем бескровным. Но он был стойким, он был циником.

Минует все – и муки, и блаженство.

Минуй же эту жизнь, она – ничто.

И он скрыл волнение, вызванное словами Траутвейна.

– Мне, конечно, было бы весьма приятно, профессор, – сказал он привычным тоном эгоиста-циника, – если бы вы больше зарабатывали; тогда, надеюсь, и мне перепало бы больше. Но не стройте себе, пожалуйста, никаких иллюзий. Не воображайте, что есть такая сила в мире, которая могла бы помочь Фридриху Бенъямину. Этот человек ввязался в борьбу против насилия и глупости, но он влопался и, следовательно, погиб. Насилие и глупость правы, не выпуская его из своих лап; ибо, если они выпустят его, они не будут насилием и глупостью, и он окажется не прав. Наводняйте мир бумажными протестами, насильники и глупцы употребят их на подтирку; те, кто пишет протесты, – наивные, оторванные от жизни люди, они не заслуживают того, чтобы к ним прислушиваться.

Подлых видишь ты людей.

Но молчи, смирайся.

С теми, кто тебя сильнее,

Лучше не сражайся.

Ну что вы тут поделаете, профессор? Уж не думаете ли вы, что господин Гитлер выпустит из своих рук господина Бенъямина, потому что господин Траутвейн напишет хорошую статью? Смешно. Правильнее было бы вам не связываться со всем этим. Займитесь наконец серьезно своим делом, своей музыкой, вы совершили на своем веку достаточно глупостей и растратили попусту достаточно лет.

Последние слова он хотел бросить как бы вскользь, но это у него не вышло, наоборот, в унылом, резко освещенном кафе «Добрая надежда» они прозвучали криком. Траутвейн поднял глаза на своего друга и понял, что тот относит сказанное в одинаковой мере и к самому себе. Да, под покровом нигилистической мудрости скрывалась, очевидно, тоска по покою, по укрытой гавани, по крупнице твердой почвы под ногами, по родине, по уголку земли, где бы после стольких невзгод и мук изгнания можно было почувствовать себя дома.

Но еще больше, чем это понимание, его поразило, что Черниг говорит ему то же, что и Анна. Его взволновало, что такие в корне различные два человека думают одинаково о его назначении в жизни.

Они поднялись. Молча направились к ночлежке. У входа в барак Траутвейн сунул руку в карман, он хотел дать Чернигу денег. С удовольствием отдал бы он ему все, что там было. Но об этом нечего и думать. Большую часть своего заработка он отдает Анне на хозяйство, и прямо-таки чудо, что Анна обходится такой суммой; карманные же деньги, которые он оставляет себе на разъезды по городу, на обеды в ресторанах от случая к случаю и на прочее, надо расходовать бережно. Поэтому, как его это ни коробит, а приходится подсчитать свою наличность. Семьдесят два франка. Сорок два после короткого колебания он отдает Чернигу. Это легкомысленно, их будет ему не хватать, но он не может отпустить своего друга в барак ни с чем. И так уж ничтожность этого дара причиняет ему почти физическую боль.

Черниг берет деньги, не стыдась пересчитывает их.

– Сорок два, – деловито устанавливает он с кривой усмешкой. – Вот и снова есть зяблику что поклевать, – весело говорит он и звонит сторожу.

Большую часть пути домой Траутвейн прошел пешком. Слова Чернига и Анны крепко им завладели. Он представляет себе все то заманчивое, от чего он собирается отказаться, и все то отталкивающее, что ему предстоит. Он думает о «Персах», он думает о мелкой, тягостной, кропотливой, ремесленной работе в редакции «Парижских новостей», вдобавок, по всей вероятности, совершенно бесплодной. И он принимает решение: отказаться.

Приняв это решение, он долго не мог уснуть. Судьба Беньямина не давала ему уснуть, и он знал: если он откажется, она и впредь не даст ему спать. Он не сможет ни есть, ни пить, ни работать. Мысль о Фридрихе Беньямине, если он отклонит предложение Гингольда, отравит ему существование сильнее, чем мысль о музыке, о деле всей его жизни, – если он согласится.

Зепп колебался. Даже когда Гингольд спросил у него: «Ну как, уважаемый господин Траутвейн, начнем работать?» – он все еще колебался. Но через два часа, прошедших в таких же колебаниях, ответил:

– Да.

* * *

Все последующие дни Траутвейн работал так, что у него голова шла кругом. Прежде всего он использовал свое положение, как и рассчитывал, для борьбы за Беньямина. Судьба Беньямина всколыхнула немало людей, и это нашло отражение в общественной жизни, в газетах. Зепп Траутвейн со своей стороны не давал этому возбуждению схлынуть. Против обыкновения он развил сумасшедшую деятельность. Звонил в различные организации, которые могли быть ему полезны, бегал в полицию, побывал в министерстве иностранных дел, у швейцарского посла. Благодаря этому «Парижские новости» вскоре стали центром борьбы за Фридриха Беньямина. К Траутвейну посылали материал, к Траутвейну обращались за материалом, который мог быть полезен для спасения похищенного Беньямина. Он отсеивал, редактировал, выбивался из сил.

Ложась в постель после загруженного до отказа дня, он не мог заснуть от переутомления. Иногда, среди лихорадочной суеты, он вдруг, как о чем-то далеком, вспоминал о «Персах» и тогда мрачно думал о том, как это удивительно: во имя музыки он ушел в политику, а теперь во имя политики жертвует музыкой.

В первый же день, когда он услышал об исчезновении Беньямина, он решил запечатлеть сложившийся у него в душе образ похищенного в статье, которая показала бы всему миру, кем был Фридрих Беньямин и какое неслыханное беззаконие совершено над ним.

И он начал писать. Он не торопился. Его пером водили холодный разум и горячее сердце, он отметал все случайное, лишнее. Он хотел доказать и себе, и Анне, что не зря оставил свое искусство.

Его статья о Фридрихе Беньямине, о его друге – да, теперь он называл его своим другом, – рассказывала о даровании и пламенном сердце друга, о его неустанной отважной борьбе против глупости и насилия, о страшном кошмаре, ставшем явью, когда этот славный борец попал в грубую ловушку, расставленную варварами, и особенно много говорилось в статье, ибо ее писал музыкант и художник, о нарушенной гармонии мира. Читателя не могло не потрясти, не захватить негодование при мысли об этой нарушенной гармонии; оно вылилось у автора не в общие фразы; оно опиралось на доводы разума.

О похищении журналиста Фридриха Беньямина много писали; несмотря на это, статья Траутвейна прозвучала как-то по-новому, и дело Беньямина приобрело под его пером очень грозный, очень тревожный характер. Многие газеты перепечатали статью.

Статью читали люди с весом, крупные промышленники, финансисты; на одно мгновение, быть может, тем или иным из них овладевал гнев, затем мысль о делах вытесняла все остальное, и они скептически откладывали газету в сторону. Статью читали государственные деятели малых, слабых стран, граничащих с Германией, в людях закипали ярость и возмущение, но тут же примешивалась мысль: «Вот неприятность. Как нам быть с нашей оппозицией, если она потребует, чтобы мы дали по рукам насильникам в Германии?» Статью читали юристы, они покачивали головами, любопытствуя, что же произойдет дальше, заранее убежденные, что ничего не произойдет.

Статью читали благонамеренные наивные пацифисты. «Надо привлечь этих людей к переговорам, – полагали они, – говорить с ними, убеждать добром, авось они образумятся». Статью читали моралисты, они возмущались и убежденно восклицали: «Этот режим не может устоять!» Статью читали хозяйственные деятели. «Ужасно, – говорили они, – что приходится иметь дело с этими гуннами, но без них мы не можем обделывать наши дела». Ее читали люди, которые все несчастье человечества видели в том, что в мире слишком сильны бесхребетная демократия и прочие гуманистические бредни, и которые ждали спасения исключительно от германских и итальянских фашистов; они откладывали статью в сторону и говорили: «Несомненно, все это ложь, а если это и не ложь, то значит у немцев были на то свои основания, и они правы». Статью Траутвейна читали женщины, и слезы жалости и негодования выступали у них на глазах. Ее читала молодежь и, загораюсь гневом, говорила: «Когда же дадут нам в руки оружие, чтобы уничтожить этих преступников?» Статью читали сторонники насилия и сторонники соглашения; одни ругали статью, другие одобряли, но и те и другие в глубине души были уверены, что ни ругань одних, ни одобрение других ничего не изменят в действительности.

Много миллионов людей читали эту статью. Большинство на миг испытывало чувство возмущения, но уже в следующую минуту люди забывали и о Зеппе Траутвейне, и о Фридрихе Беньямине.

7

Один из новых властителей

Статью прочел и Эрих Визенер, парижский представитель «Вестдейче цейтунг», виднейший национал-социалистский журналист.

Эрих Визенер знал толк в писательском ремесле; он мог по достоинству оценить силу и остроту статьи. Как фамилия автора? Траутвейн? Не музыкант ли? Смотрите-ка, кое-кому эмиграция пошла на пользу. Господин профессор музыки, например, научился писать.

Хотя и материал мы дали ему, надо сказать, богатейший. Да, опять основательно сели в лужу. Похищают Европу или же сабинянок – но господина Фридриха Беньямина, Фрицхена? Пока мы, так сказать, «тайно» вооружались, этот человек, пожалуй, мог бы и навредить, но теперь? Слишком глупо. Все эта сволочь, которая командует в Берлине, – это их рук дело. Им бы только посчитаться за свои маленькие личные обиды. Они распоясываются, они «мстят». В «Нибелунгах» наиболее актуальна для современности месть Кримгильды, наименее актуальна ее верность. А расплачиваться за эту месть приходится другим. Тридцатое июня нам дорого обошлось. Осецкий. Теперь еще Фридрих Беньямин.

Вероятно, сию гениальную идею высидел Шпицци; странно, в сущности говоря. Хотя до сих пор он ничем особенно не прославился, но и глупостей не натворил. Напротив, он производит впечатление пройдохи. Однако в истории с Беньямином ему не повезло.

На губах Эриха Визенера мелькнула легкая усмешка. Наверно, именно в связи со статьей Траутвейна Шпицци позвонил ему ни свет ни заря, прося о встрече. Как правило, милейший господин фон Герке не встает так рано. Между германским посольством и им, Визенером, издавна существует соперничество. Посольство на улице Лилль представляет имперское правительство, он же, порой через голову посла, выполняет особые поручения от берлинских властителей. Точного разграничения функций нет. Визенер отнюдь не претендует на роль второго посла, однако некоторые инстанции в Париже сообразили, что иногда можно быстрее достигнуть цели, если вместо посольства вести переговоры с ним. Сотрудничество между посольством и Визенером – дело далеко не простое. Гибкий Шпицци с его флегматичной любезностью, надо признать, наиболее подходящий посредник между обеими инстанциями. Визенер ничего против него не имеет, Шпицци ему даже симпатичен. Тем не менее он доволен, что в истории с Беньямином Шпицци попал впросак.

Теперь ему, Визенеру, по всей вероятности, снова придется поправлять дело, испорченное другими. Он слегка вздыхает – больше от тщеславия, чем от досады. Что ни день, то в Берлине или на улице Лилль разрешают себе все новые дикие или глупые выходки, а наш брат изволь затем подводить под них благопристойные мотивы. Хорошо, что у него легкая рука и находчивый ум.

Эрих Визенер блаженно потянулся в постели. Перед ним – остатки завтрака. Через широкое большое окно он смотрит на Сену, на уходящие вдаль серебристо-серые крыши. Сверкая, раскинулся внизу прекрасный город Париж. Эрих Визенер доволен собой, Парижем и миром, и мысли его прихотливо блуждают.

Конечно, не особенно приятна мысль, что Фрицхен Беньямин сидит в «Колумбии» или в каком-нибудь другом, таком же страшном застенке. Для слабого человека с еврейской внешностью это не санаторий. Но Фрицхену следовало заранее быть готовым к тому, что его бессмысленные, истеричные подстрекательские статьи до добра не доведут. Кто разрешает себе удовольствие нападать на власть, кто непременно хочет разыгрывать из себя пророка и проповедовать, что волку следует пастись рядом с овцой, тот в наше время подвергает себя определенному риску. Впрочем, и в Библии, кажется, какого-то пророка перепилили пополам или уколошили каким-то другим способом. Исаию как будто. Зато его проповеди читаются и

поныне. Мои статьи через две тысячи семьсот лет вряд ли будут читаться. Но, насколько человеку дано предвидеть, меня не перепилят.

Не странно ли, что человек, который разоблачил во всех деталях столько политических убийств, сам попался в такую грубую ловушку? Какой-то трагикомический анекдот. Эти умники, как дойдет до дела, нередко оказываются в дураках.

В Германии я часто встречался с Фрицхеном и, если память мне не изменяет, изрядно флиртовал с его женой. Не Ильзой ли ее звали? Прелестная женщина, и на взгляд, и на осязание. Пожалуй, многовато снобизма, но кто этим не грешил? Даже я иногда. Как бы я вел себя, если бы она пришла ко мне с просьбой похлопотать за Фрицхена? Случись нечто подобное лет двадцать назад, я попытался бы ее соблазнить и вообразил бы себя этакой фигурой Ренессанса. Из «Тоски». Какими желторотыми мы были двадцать лет назад.

Эрих Визенер потягивается, блаженно наслаждается теплом постели, видом города Парижа. В свои сорок семь лет он достиг многого. Его родители порадовались бы, глядя на него.

Он косится на столик, где лежат «Парижские новости» со статьей Траутвейна. Он широко улыбается, его удовлетворение сдобрено беззлобной, почти благодушной иронией. Франц Гейльбрун – его старый друг, враг и коллега. До прихода Гитлера к власти, вероятно, пять-шесть немецких журналистов пользовались известностью за пределами Германии. Гейльбрун принадлежал к их числу. Из них только он, Визенер, имеет теперь возможность писать в германских газетах, всем прочим остаются лишь их «ПН». Какой убогий вид имеют эти «Парижские новости» – хуже любого захолустного листка. Горемыки они, все эти Гейльбруны и К°. Шум, который они поднимают, обратно пропорционален их влиянию. Они пишут для горсточки бесильных нищих эмигрантов; как бы ловко и эффектно они ни подавали и ни комментировали свой материал, он дойдет в лучшем случае до сорока или пятидесяти тысяч читателей. Он, Визенер, пишет для тридцати или сорока миллионов. Он пожимает плечами, улыбается. Так человек, сидящий в «роллс-ройсе», смотрит на людей, которые собираются обогнать его в старой, отжившей свой век колыхаге.

Они называют его ренегатом, резиновой душой. Чепуха. Его «Вестдейче цейтунг» во времена Веймарской республики была демократическим органом, спору нет. Но эти господа смогли бы процитировать из его прежних статей не много такого, от чего ему сейчас пришлось бы отмежеваться. Как ни тонко, если угодно, по-снобистски, он писал, силу он всегда читил по внутреннему убеждению. Он чуял, на чьей стороне сила, и, тогда как другие видели в национал-социалистах только смешное, он с самого начала сквозь это смешное разглядел силу. Вот почему те докатились до «ПН», а он занимает лучший редакторский пост в империи.

Быть может, на чей-нибудь придирчивый взгляд он в том или ином вопросе изменил мнение. Но разве сила духа заключается в том, чтобы всегда упорно стоять на своем? Кого война не научила, что правда без силы не есть правда, тому уж ничто не поможет. Они говорят о диалектике истории и не понимают, что истина завтрашнего дня сегодня может быть ложью. Об истинах завтрашнего дня можно писать в книгах, которые предназначены для будущего. Кто хочет действовать сегодня, тому эти истины ни к чему. Такова была практика всех великих людей. Вот Гёте, скажем. В «Фаусте» он оправдал Гретхен. На практике же он вопреки решению других приговорил детоубийцу к смерти. Перед собственной совестью он был чист: ведь в глазах будущих поколений он оправдал ее. Так поступает и Визенер.

Он бросает хитрый, плутовский взгляд на вделанный в стену сейф. Там лежит объемистая рукопись, которая каждый вечер заканчивается, каждое утро требует продолжения. Он тоже может держать ответ перед своей совестью.

Он слегка приподнимается, просматривает почту. Просьбы, предложения сотрудничества, повестки на те или иные важные заседания, письма от женщин – все это документы, подтверждающие, что его уважают, любят, боятся, высоко оценивают его влияние. Польщенный,

он, слегка скучая, пробегает письма. Затем снова заглядывает в газеты, с удовлетворением убеждается, что английская и французская печать цитируют и комментируют его вчерашнюю статью. Глаз у него наметанный, достаточно беглого взгляда, чтобы разобраться в материале. Машинально берет он еще раз в руки «Новости». Неприятно удивленный, ловит себя на том, что второй раз, и очень внимательно, читает статью Зеппа Траутвейна. Ерунда. Импонируют ему, что ли, эти стилистические упражнения его бывших коллег? Задевают его? Он решительно прерывает чтение, откладывает газету в сторону.

Встает. Идет в ванную, чтобы закончить туалет. Критически вглядывается в лицо, которое смотрит на него из зеркала. Энергичное, мужественное лицо, вполне понятно, что оно многим нравится. Ему оно сегодня не нравится. Он много интересовался физиогномикой и знает, что одна какая-нибудь черта лица, взятая в отдельности, ничего не говорит о целом, что нужна интуиция, нужно мудрое сердце, чтобы понять лицо человека как единое целое. И все же он вглядывается в каждую черту этого отраженного в зеркале лица, давая ему точную оценку. Он видит крепкий, широкий лоб, лишь чуть-чуть прочерченный морщинами, густые брови над серыми глазами и намечающиеся под глазами мешки, короткий прямой нос, широкие скулы, удлиненный, красиво изогнутый рот, не очень твердый подбородок, довольно короткую шею и широкие плечи. Густые светло-русые волосы, среди них ни одного седого, несмотря на то что ему стукнуло сорок семь. Мужественное лицо. Но если человек настроен критически, как сегодня Визенер, то это вовсе не мужественное лицо. Скоро оно станет рыхлым, возраст предательски разоблачит, сколько женственного, капризного кроется за этим лбом. Через пять лет у него будет лицо старой бабы. Эрих Визенер чуть-чуть пожимает плечами, презрительно улыбается лицу в зеркале, напрягается, стискивает мелкие зубы, распрямляет плечи. Он широко улыбается, посмеиваясь над самим собой, и надевает черный, широкий роскошный халат, своей пышностью подчеркивающий мужественность лица. В таком виде – нечто среднее между римским императором и самураем – проходит в кабинет.

Визенер садится за громадный письменный стол, наслаждаясь видом красивой комнаты и прилегающей к ней библиотеки. Он хорошо знает Париж, он жил здесь до войны, здесь же главным образом провел и послевоенные годы в качестве корреспондента «Вестдейче цейтунг». Сначала он занимал жалкий номер в гостинице Латинского квартала, потом две скромные комнаты неподалеку от Монпарнаса, затем – три недалеко от площади Звезды, а теперь живет возле Эйфелевой башни в красивой, богатой, долгие годы заботливо обставленной квартире, в высоком новом доме с великолепным видом на город, который он любит. Его взгляд с удовольствием скользит по серебристо-серым крышам и возвращается к книжным полкам.

Тщеславен ли он? Существует много разновидностей тщеславия. Совершенно разные вещи – тщеславие ярмарочного боксера, который предлагает публике любоваться своей мускулатурой, тщеславие фюрера, выступающего на Нюрнбергском съезде, и его, Визенера, сознание своего превосходства. Совершенно разные вещи – когда фюрер рычит в микрофон: «Я спас мир от большевизма» – и когда он, Эрих Визенер, радуется книгам, которые собирает и изучает. Не только потому, что он эти книги приобрел, во всех отношениях «заработал», а тот, другой, вовсе не спас мир от большевизма. Существуют дозволительные, необходимые, похвальные виды тщеславия. *Exegi monumentum aere perrenius*⁵, сочинить этот стих было славным деянием. Тщеславие Горация можно назвать достоинством. Проповедник Соломон тоже был тщеславен, тщеславны были Александр, Цезарь, Гёте, Гойя. Кто из великих людей не был тщеславен? Остается только взвесить, в какой степени сознание своих заслуг соответствует этим заслугам. Быть в Париже представителем правящей партии самого могущественного государства Центральной Европы, в Париже, в столице врага, добиться этого сыну небогатого офицера,

⁵ Я памятник воздвиг себе прочнее меди (*лат.*) – строка из стихотворения Горация «Памятник».

без поддержки какой-либо клики, к тому же сохранив в неприкосновенности свою совесть и свой стиль, – это, уважаемые господа из «Новостей», чего-нибудь да стоит.

С многозначительной злой усмешкой он возвращается в спальню, открывает сейф, достает рукопись, в сторону которой он несколько минут назад бросил красноречивый взгляд, рукопись большого формата, переплетенную в плотное суровое полотно. Он открывает книгу на первой странице, где тщательно выведено *Historia arcana* – «Тайная летопись». В эту книгу он записывает все те политические и социальные события, о которых он знает, но не имеет права говорить: сюда он записывает свои самые сокровенные мысли и взгляды в неприкрашенном виде, только для себя и для потомства. Эта книга – его совесть, его оправдание в будущем. Когда он берет ее в руки, в нем возникают ассоциации с такими представлениями, как исповедь, день Страшного суда, покаяние, Зигмунд Фрейд. Точно так же, как византиец Прокопий писал книги, в которых славил подвиги и деяния своего императора Юстиниана, а втайне собирал и записывал все, что казалось ему пошлым и смешным в этом человеке и вокруг него, точно так же, как художник Гойя официально писал картины для брата Наполеона, а втайне выражал свой протест против него, против французов и их войны в великолепных и страшных офортах, – так и он, Эрих Визенер, показывал общественности только одну сторону событий, а другую отражал в этой книге. Здесь, между двумя крепкими, обтянутыми полотном покрывками, заботливо хранится не только его собственное подлинное «я», но и подлинный мир национал-социалистов, их фюрер, их рейх, их политика, их подлости, их жалкие, грязные поступки.

Он открыл книгу наугад, предоставляя выбор случаю, и стал читать. Стенографические значки сплетались в причудливые ряды, иногда он с трудом расшифровывал то или иное слово. Он смотрел на мир острым и безжалостным взглядом, но в отражении и обличении собственного «я» – это опять бросилось ему в глаза – проскальзывало кокетство. Вероятно, он носил в душе определенный образ самого себя, который нравился ему, и он, передавая свои чувства, представления и мысли, бессознательно пригонял их к этому образу. Но поскольку может человек в такой попытке оставаться честным, он был честен. Он читал, улыбался, покачивал головой с чувством превосходства над этим смешным многоликим миром, в котором приходится жить, и порой с удивлением, чаще с презрением, еще чаще с восхищением и всегда с интересом думал об этом проклятом, великолепном, циничном, сентиментальном современнике, об этом нелепом, самодовольном, объективном, глубокомысленном, поверхностном, близоруком, дальновидном, ловком парне – Эрихе Визенере, подобии господа бога.

Он принялся за работу – стал записывать утренние впечатления. Он написал то, что думал о «Новостях», о Зеппе Траутвейне, о Фридрихе Беньямине, об эмигрантах вообще, о соотношении между ними и «третьей империей» и о своем собственном отношении к миру «Новостей» и эмиграции. Он писал быстро, избегая пауз, чтобы работой над формой не нарушать непосредственности мыслей и чувств.

Голоса в передней вспугнули его. Он совершенно забыл о предстоящем свидании со Шпицци, но, пока слуга Арсен помог господину фон Герке снять пальто и ввел его в кабинет, у него было достаточно времени, чтобы отнести в сейф, находящийся в спальне, книгу – свою совесть – и встретить гостя.

– Вы открыли весенний сезон? – приветствовал он Шпицци, окидывая взглядом его костюм.

Да, Шпицци полагает, что погода достаточно хороша; и впервые в этом году разрешил себе одеться чуть-чуть посветлее.

– Вам не кажется, что носки слишком светлы? – поинтересовался он.

Визенер сказал, что галстук у Шпицци великолепен и носки all right⁶. Парень выглядел чертовски хорошо. На улице Лилль могли им гордиться. Сегодня Визенеру это бросилось в глаза больше, чем обычно. Впрочем, была в Шпицци какая-то перемена, но какая именно – Визенер уловить не мог.

В господине фон Герке всегда было нечто такое, чего нельзя было сразу раскусить. Ни одна душа не знала, каким образом он попал в посольство. Быть может, он путался с кем-нибудь из берлинских властителей, что часто бывало причиной таких карьер. Но нет, по нему этого не скажешь. Конечно, кто-то из берлинских бонз его поддерживал. Иначе он не был бы порой так безмерно нахален. Но в общем, тайна, окружавшая Шпицци, делала его еще более симпатичным Визенеру, его привлекала такая смесь флегмы, любезности и нахальства, а сегодня, когда Шпицци сиял больше обыкновенного, он особенно нравился Визенеру.

– Читали вы «Парижские новости»? – спросил Шпицци. – Видели статью этого типа Траутвейна?

А, значит, догадка Визенера верна. Шпицци явился в связи с делом Беньямина, статья нарушила его флегматичное спокойствие. Визенеру приятно, что статья задела и других.

Он с интересом ждет, чего же, собственно, от него хотят. Чтобы он возразил Траутвейну? Он и сам не знает, приятна ему или неприятна такая просьба. Мысль обрушиться на своих старых конкурентов, конечно, заманчива, но ведь он решил не обращать на них внимания? Он ответил уклончиво.

– С вашим Фрицхеном Беньямином вы сели в лужу, – сказал он с улыбкой.

– Вы милейший человек, Визенер, – сказал Герке, тоже с улыбкой, спокойно, без всякого раздражения, – но почему вы всегда говорите «вы» и «ваш»? Говорите «мы» и «наш». В истории с Фрицхеном я столько же виноват или не виноват, как вы.

Визенер не позволил себе улыбнуться. Теперь он был уверен, что ответственность за дело Беньямина лежит на Шпицци и, по-видимому, дело это может иметь для него серьезные последствия.

Шпицци действительно был неприятно удивлен тем, что дело Беньямина вызвало такой шум. Разумеется, сославшись на свою «заслугу», на свое «деяние», он как-нибудь выпутается из этой истории, но на улице Лилль ему пришлось выслушать немало глупых речей, и понадобились вся его наглость и флегматичная любезность, чтобы сделать вид, будто они к нему не относятся. Хорошо еще, что благодаря новым зубам его улыбка кажется особенно сияющей.

При данном положении вещей он считал наиболее разумным в интересах государства, как и в своих собственных, чтобы в Германии по возможности не обращали внимания на шум, поднятый вокруг дела Беньямина. На улице Лилль его взгляд разделяли. Но Берлин еще не высказался. Берлин имеет обыкновение придавать излишний вес всякой болтовне эмигрантов и нервничать из-за нее; никогда нельзя знать заранее, как там будут реагировать. Этот Траутвейн с его вульгарной манерой грубо-патетически называть вещи своими именами создал неприятное положение. В Берлине, по всей вероятности, вместо того, чтобы прикинуться глухими на одно ухо, захотят предпринять какой-нибудь встречный маневр. И вот Шпицци решил уговорить Визенера, чтобы он посоветовал посольству и министерству пропаганды не замечать болтовни эмигрантов и всей истории с Беньямином.

Визенер и сам находил, что правильнее не подавать в этом деле никаких признаков жизни: лавров тут не пожнет никто, в том числе и он. Шпицци, несомненно, добивается от него именно пассивности, поэтому он даст себя упротить и сделает под видом услуги то, что он и без того намеревался сделать.

– Да, – ответил Визенер, – я читал статью. И пришел к выводу, что это дело еще доставит вам – извините, нам – немало хлопот. Статья серьезно обоснована, и Траутвейн неплохо пишет.

⁶ Превосходны (англ.).

– Согласен, – подтвердил Шпицци снисходительно и высокомерно, – писать эта сволочь умеет.

– Но ведь ничего другого, Шпицци, не делаю и я, – возразил Визенер. – Я тоже писатель.

– Вы, Визенер? – с глубоким удивлением спросил Герке. – Вы принадлежите к расе господ и, кроме того, пишете. А эта сволочь – что ж, пускай себе пишет. Вы серьезно думаете, что их писания могут иметь какие-нибудь последствия? Пусть этот – как бишь его – Траутвейн настроит еще хоть сто статей, никто и ухом не поведет. – Он говорил, улыбаясь, спокойно, за очень красными губами сверкали красивые белые зубы.

Визенер сидел в кресле, удобно откинувшись, и поигрывал кистью тяжелого черного халата. К сожалению или к счастью, Шпицци прав. Писать и в самом деле имеет смысл лишь в том случае, если ты – из числа господ, точнее, если ты связан с властью. А писать во имя сверженной демократии, во имя обанкротившегося международного права, как это делают Гейльбрун и Траутвейн, – это значит писать на песке. Но он ничего не возразил, он выжидал, не выскажется ли собеседник еще яснее.

– Иногда я спрашиваю себя, – продолжал господин фон Герке после краткой паузы, – почему в Берлине так серьезно считаются с писаниной эмигрантского сброда? Я думаю, что причина – в самих берлинцах. Чтобы раздуть соответствующим образом значение собственной деятельности, господам из министерства пропаганды приходится ставить во что-то и базарных крикунов из противоположного лагеря. Эмигрантский листок, – продолжал он с легким пренебрежительным жестом, – «Новости». – Он поднял нос, фыркнул, и в этой маленькой гримасе было все презрение аристократа к разному сброду. – «Новости»! Их читают несколько тысяч евреев и большевиков, радуются, что они нас «кроют». Пожалуйста. Сделайте одолжение. Мы вырвали с корнем эту мразь и выкинули ее в помойную яму. Там она лежит и «кроет» нас. Предоставим ей это удовольствие.

То, что господин фон Герке так высокомерно разделался со статьей Траутвейна, показало Визенеру, как сильно он задет. Это интересно. Быть может, и сам он, Визенер, задет глубже, чем сознает.

– Я думаю, дорогой мой, – сказал он почти против воли, – нервозность Берлина объясняется не так просто. Многие берлинские заправилы – журналисты. К тому же не слишком хорошие. Нам с вами это известно, но сами они не знают или не хотят этого знать. Когда они читают нечто подобное, – он показал на стол, где лежали «Новости», – им становится ясно, до какой степени сами они дилетанты. Разумеется, они начинают нервничать.

Господин фон Герке внимательно слушал. Образование – вещь хорошая, но слишком много образования – это уже подозрительно. От очень образованных людей часто пахнет большевизмом, они плохо одеваются, любят мудреные рассуждения, быстро становятся скучными. Визенер, однако, несмотря на свою умопомрачительную образованность, прекрасно одет, обладает хорошими манерами, редко бывает скучен. У него есть чему поучиться. Например, только что брошенный им психологический штрих. Это намек, достойный внимания. Тут много верного. Некоторые из влиятельных берлинцев не могут переварить, что во времена Веймарской республики крупные газеты отвергали их статьи. Обуреваемые писательским честолюбием, жадой мести, завистью к конкурентам, они обрушиваются теперь, когда власть в их руках, на всякое дарование. В Германии расправа у них коротка. Там они попросту не дают печататься неугодным им людям, то есть людям талантливым. Но вышло так, что эти талантливые люди, эти «труссы», ускользнули от них, удрали за границу и теперь бойко продолжают свою деятельность. Если бы умело ликвидировать одного из эмигрировавших литераторов, это было бы услугой, которую в Берлине, безусловно, оценили бы. Он, Шпицци, мог бы такого рода актом загладить неудачу в деле Бенямина, не прибегая к помощи Медведя.

Визенер, едва обронив свое психологическое замечание, сейчас же в нем раскаялся. Он, правда, по-прежнему гордо отказывался от борьбы со своими конкурентами, эмигрировав-

шими евреями и социалистами, все же в глубине души был уверен, что в Берлине всегда можно заслужить одобрение, предъявив скальп одного из этих господ. С его стороны не очень умно было навести Шпицци на этот след. Свои психологические соображения надо хранить про себя. Хорошо еще, что Шпицци ленив, лишен честолюбия.

«В один прекрасный день придется, пожалуй, подумать о ликвидации „Парижских новостей“», – взял себе на заметку Эрих Визенер. «Не ликвидировать ли мне „Парижские новости“?» – взял себе на заметку господин фон Герке. Но, взяв это на заметку, оба пока отказались от своего намерения. Визенер – блюдя порядочность и памятуя об *Historia arcana*, а Шпицци – по лености: зачем сегодня принимать решение, которое можно отложить на завтра?

Он вернулся к цели своего посещения, заговорил деловым тоном.

– На улице Лилль, – сказал он, – со мной согласились, что лучше не раздувать в германской печати дело Беньямина, то есть не отвечать на вопли заграничных газет. Мы полагаем, что мир будет реагировать на это дело, как на множество других: неделю-другую покричит, на третью – утихомирится, на пятую – обо всем забудет. Но прежде чем отправить в Берлин донесение в этом духе, нам очень хотелось бы выслушать ваш совет, дорогой Визенер.

– Не беспокойтесь, *mon vieux*⁷, – ответил Визенер. – Я смотрю на это дело почти так же, как и вы. – Он счел нужным успокоить Шпицци, с ним надо поддерживать хорошие отношения. Шпицци сметлив, он, без сомнения, сделает карьеру. Если Шпицци серьезно захочет, он, конечно, сумеет подхватить намек, который Визенер только что так неосторожно бросил ему, а между тем очень сомнительно, в его ли это, Визенера, интересах.

Шпицци, как бы читая его мысли, стал размышлять вслух:

– Вы поистине отличный психолог, дорогой Визенер, и наших берлинских «столпов» вы видите насквозь. Ваше замечание очень верно. Господа литераторы в самом деле обуреваемы комплексом неполноценности, и ненависть к эмигрировавшим конкурентам, переоценка влияния этих конкурентов стали их навязчивой идеей. Выбить у них эту дурь из головы мы не можем, значит надо с ней считаться. Нам на улице Лилль следовало бы что-нибудь предпринять против эмигрантских писак. Не можете ли вы тут посоветовать что-нибудь, Визенер? Ведь вы специалист. Нельзя ли так допечь «Парижские новости», чтобы они стали шелковыми? Денег у этих молодчиков, безусловно, нет. Нельзя ли путем дипломатического давления навязать им несколько дорогостоящих процессов? Они, например, поносят фюрера.

– Кто этого не делает? – ответил Визенер. – Если начать действовать в этом направлении, придется во всем мире увеличить число судов раз в сто. Все это мечты и пожелания, – сказал он добродушно, но Шпицци, словно капризный ребенок, вздернул нос и сказал – видно было, что этот довод вырвался у него из глубины души:

– Черт возьми, зачем же тогда нам дана власть?

Визенер лишь улыбнулся. Он даже на духу перед своей *Historia arcana* не мог бы с уверенностью сказать, чего, он, собственно, желал: хотелось ему или не хотелось натравить Шпицци на Гейльбруна и Траутвейна. Сам того не желая, он набросал – в общих чертах – план похода.

– Денег у этих молодчиков нет, – сказал он задумчиво, – тут вы, конечно, правы, это видно невооруженным глазом. Быть может, – он несколько оживился, – следует нажать на издательство. Не силой – уговором. Мне сдается, что было бы умнее выслать против них не танки, а чек. На улице Лилль, по всей вероятности, имеются сведения о финансовой базе «Новостей». Там, надо думать, заведено соответствующее досье. Собственно, вы должны быть в курсе дела, Шпицци, – улыбнулся он.

Шпицци опять высокомерно вздернул нос.

– К сожалению, осведомительная работа также входит в мое ведение, – сказал он. – Но я от природы не любопытен. Для меня это – самая скучная сторона моей профессии. Неприятно

⁷ Страница (фр.).

копаться в грязи, — и он меланхолически посмотрел на свои тщательно наманикюренные ногти. По-видимому, он все же копался: это не замедлило обнаружиться.

— Досье, конечно, заведено, — сказал он, вздыхая. — Я его перелистал.

В дверь постучали, и еще до возгласа «войдите» в комнате появилась Мария Гегнер; она уже десять лет служила секретаршей у Визенера и была посвящена во все его дела. Не обращая внимания на присутствие Герке, она занялась приготовлениями к работе: достала бумагу, сняла крышку с пишущей машинки и стала без стеснения прислушиваться к разговору.

Впрочем, Герке оставался недолго. Он добился того, чего хотел, и собрался уходить.

— Так-то, Шпицци, — резюмировал Визенер. — Значит, договорились. Я ничего не передам в Берлин, если оттуда не будет прямого запроса. А если вы поразмыслите над тем, как немножко отравить жизнь эмигрантским литераторам, берлинцы, конечно, не будут на вас в претензии. Разумеется, отраву надо давать осторожно, тщательно взвешивать дозы, но не мне вас учить, вы в этом деле разбираетесь лучше моего. Нет, носки не слишком светлые, — сказал он авторитетно, провожая Герке к дверям. — Только они и дают надлежащий тон костюму.

* * *

— Какого вы мнения о Шпицци, Мария? — спросил Визенер по уходе Герке.

— Он человек без середины, — ответила Мария, несколько рассеянно, с блокнотом в руке, по-видимому готовясь приступить к работе.

— Правильно, — сказал Визенер, — он неустойчив, но себе на уме. А его внешность? В сущности, я только сегодня разглядел, до чего он эффектен. — Мария не отвечала. — Вы сегодня не в духе? — спросил Визенер несколько вызывающе, но не без участия.

— Нет, ничего, — отвечала Мария уклончиво. Ему вдруг захотелось заглянуть ей в лицо. Но глаза Марии были опущены на блокнот, который она держала в руке. Она сказала настойчиво:

— Сегодня вы собирались написать наконец статью о стачке.

— Разве? — неохотно откликнулся Визенер. Мария бегло взглянула на него. Между ее резко очерченными бровями легла маленькая глубокая складка, во взгляде были недовольство, неодобрение. Он, вздыхая, начал диктовать.

Сначала он диктовал лениво, но вскоре работа увлекла его, он взял себя в руки, сосредоточился, ему захотелось блеснуть перед Марией, проявлявшей сегодня строптивость. Он почувствовал подъем. Мелкую экономическую стачку парижских транспортников он хотел так расписать немецким читателям, жизненный уровень которых с каждым месяцем понижается, чтобы у них сложилось впечатление, будто в демократической Франции все идет прахом, тогда как в «авторитарной» Германии положение медленно, но верно улучшается. Визенер был мастером такой ловкой подачи материала. Он оставался где-то на грани правды; тем не менее мир в его статье выглядел так, как того желал Берлин. И на этот раз, как всегда, он разрешил себе только слегка подтасовать факты, кое-что добавить, сгустить краски, и, однако, выходило, что у каждого «патриота», задумайся он о контрасте между роскошными временами в Германии и безотрадным положением в стране исконного врага, сердце должно забиться сильнее.

К концу статьи Визенер почувствовал, что он в ударе. Он ходил по комнате медленным шагом, лицо его выражало энергию и напряжение, тяжелый черный халат волочился по ковру, придавая ему величественный вид. Ему почти не приходилось поправлять себя; нарисованная им картина «с настроением» была жемчужиной стиля.

— Нравится вам? — спросил он чуть-чуть самодовольно Марию, которая уселась за машинку, чтобы расшифровать стенограмму. И так как Мария не ответила, он сам дал себе оценку: — Много фактического материала, и в правильном освещении. — Мария подняла руки, собираясь писать. Она уже давно, задолго до Визенера усвоила взгляды национал-социалистов,

горячо примкнула к «движению», ее энтузиазм помог Визенеру преодолеть сопротивление разума и найти внутренний путь к национал-социализму. Но ее энтузиазм давно улетучился, между тем как Визенер прочно утвердился в своем националистском «мировоззрении», так искусно им сколоченном.

– Вы не согласны с моим взглядом на стачку? – спросил он, стараясь раззадорить Марию, которая упорно молчала.

– Мне жаль вас, – сказала она.

– Так настроены многие. – Визенер цинично и самодовольно улыбнулся.

– Теперь уже немногие, – возразила Мария.

Визенер подошел к ней вплотную и нагнулся так, что ей пришлось взглянуть на него.

– Вы сегодня очень дерзки, Мария, – сказал он.

– Уж не потому ли, что я сказала – мне жаль вас? – ответила она, отвернувшись, и начала стучать на машинке, заглядывая в стенограмму. Визенер сидел в своем удобном кресле, положив ногу на ногу; великолепный халат ниспадал вокруг него широкими черными складками. Он чуть насмешливо смотрел, как носились по клавишам пальцы больших бледно-смуглых рук Марии.

Красива она, эта синеглазая, черноволосая женщина, что-то есть в ней своеобразное. Ей, должно быть, лет тридцать, да, уже десять лет, как она работает у него. Итак, она сердится, презирает его и ясно это показывает. Ему наплевать на так называемое чувство собственного достоинства, но, по существу, это дерзость. Достаточно маленькой неудачи, и женщины сейчас же становятся коварны, начинают бунтовать.

Но в чем же дело? Разве его постигла неудача?

Взгляд его невольно тянется к газетам, которыми завален стол. Он знает, в чем дело. Строптивость Марии вызвана статьей Траутвейна. Надо бы промолчать, но он не в состоянии.

– Читали вы статью Траутвейна? – спрашивает он. За десять лет можно изучить человека. Ведь он знает, что она читала статью, как она знает, что простой, искренний пафос этой статьи делает его сегодня еще более циничным, чем всегда. К чему же он спрашивает?

– Конечно читала, – откликается она, не прерывая работы. Ее ответ, ее поза подтверждают его поражение.

– Вы плохо настроены, Мария, – повторяет Визенер. – Это из-за статьи? – спрашивает он с несколько напряженной улыбкой, играя кистью халата. Но Мария не отвечает, она молча продолжает печатать.

– Вам очень идет, когда вы бунтуете, Мария, – вызывающе говорит он. – Это, по-видимому, и заставляет вас так часто ополчаться против меня.

Несмотря на десять лет почти ежедневных встреч, он не затеял романа с Марией. Странно и, в сущности, жаль. Но он горд своим самообладанием. Не годится вступать в связь с собственной секретаршей. «Немало женщин есть доступных», – цитирует он про себя Шекспира. Приличных же секретарш – очень мало.

«Парижские новости». Смешно, что никак от них не отделаешься. Сначала Шпицци, теперь Мария. Нелепо. Комично. Статья Траутвейна. Точно на тебя вдруг окрысилась чужая собака, бежит за тобой, не отстает от тебя. Визенер в раздражении ищет все новых сравнений. Нет, нет, нет. Он и не помышляет предпринять что-либо против этих людей, не станет он этим заниматься, их вопли не задевают его. Мария к нему несправедлива, Мария не понимает его. Он сделал намек Шпицци, но это ничего не доказывает. Он сделал его нечаянно, без заранее обдуманного намерения. И последствий, конечно, никаких не будет. Улица Лилль ничего не предпримет против этих людей. Шпицци слишком ленив.

Эрих Визенер подошел к своему большому письменному столу, взял в руки «Новости», тщательно сложил газету, бережно, почти нежно положил ее обратно на стол. Втайне он, сам того не желая, радовался, что взбудоражил Шпицци. В его сознании незаметно для него самого

резче обозначилась «заметка», которую он мысленно сделал во время разговора с Герке: «В один прекрасный день придется, пожалуй, подумать о том, чтобы ликвидировать „Парижские новости“».

Мария закончила расшифровку стенограммы. Визенер, настроение которого значительно улучшилось, ласково сказал:

– Теперь, пожалуй, можно попытаться поработать и над «Бомарше».

Он много задумывал книг и многие из них начинал писать; но, как ни блестящи были его замыслы, ему быстро надоедало приводить их в исполнение, и начатое оставалось незаконченным. Он был слишком тонким ценителем, чтобы испытывать удовлетворение от небрежной работы, а для добросовестной не хватало выдержки. Из многих работ, за которые он брался, наиболее продвинулась вперед биография Бомарше. Изобразить жизнь и творчество этого человека, истинного представителя своего времени, блестящего, одаренного, необычайно жадного к жизни и не отягощенного принципами, – эта задача казалась ему заманчивой, она была по нему. Он чувствовал себя сродни этому Бомарше. Он сам, хоть и родился, к сожалению, в конце девятнадцатого столетия, принадлежал к восемнадцатому. Он завидовал своему герою. Тому повезло, судьба всегда делала его выразителем идеологии, которой принадлежало будущее. По существу беспринципный, он имел возможность с подъемом, даже убежденно, афишировать свои принципы. Визенер очень ему завидовал и резко порицал в нем отсутствие убеждений.

Около часа он диктовал с большим увлечением и успехом. Затем остановился перевести дух – и кончил.

– Вы считаете меня негодяем, Мария? – спросил он и взял ее руку, которую она, чуть-чуть противясь, оставила в его руке. – Но уметь-то я кое-что умею, это вы не можете не признать.

* * *

Когда Визенер после обеда вернулся домой, слуга Арсен, помогая ему снять пальто, сказал:

– Господин де Шасефьер ждет в кабинете.

Визенер с трудом сохранил безразличное выражение лица. Он пережил войну и революцию, познал много падений и взлетов, при всех ударах судьбы сохранял необычайное самообладание, но при встрече со своим сыном Раулем у него всегда начиналось сердцебиение.

Когда он вошел в кабинет, Рауль де Шасефьер с сигаретой в руке стоял у полок примыкавшей к кабинету библиотеки. Мария сидела, повернувшись к нему лицом, – по-видимому, она с ним разговаривала. Между тридцатилетней Марией и семнадцатилетним Раулем происходил маленький флирт, забавлявший Визенера.

Рауль повернул к вошедшему свое красивое, удлиненное дерзкое лицо. Визенер невольно сравнил, как он часто это делал, лицо юноши с портретом Леа, висевшим в библиотеке. У Рауля был широкий лоб отца, его густые брови; но более узкий подбородок и смелый хрящеватый нос были от матери. Голова отрока, умная, своевольная и привлекательная.

– Я вижу, вы приобрели нового Монтеня, мсье Визенер, – сказал он. Капризный Рауль никогда не останавливался на каком-нибудь определенном обращении в разговоре с отцом. Иногда он называл его «мсье Визенер», иногда – «папа»; то он говорил с ним по-французски, то по-немецки. Сегодня Визенеру было даже приятно, что Рауль предпочел официальное обращение «мсье Визенер».

Он повел его в столовую, расположенную возле библиотеки, и прикрыл стеклянную дверь.

– Садись, мой мальчик, – пригласил он Рауля. – Чаю хочешь?

– Нет, – ответил Рауль, – но от аперитива я не откажусь. Ваш белый портвейн заслуживает внимания.

Визенер велел принести портвейн, налил, пытливо поглядел на юношу. Что ему нужно? Стройный, высокий, с узкими руками и ногами, сидел в своем кресле Рауль, дерзко и кокетливо повернув через плечо худое, овальное лицо с зеленовато-серыми глазами.

– Я проходил мимо, – сказал он, – захотелось на минутку заглянуть к вам. Не бойтесь, мне ничего особенного от вас не надо. Просто по дружбе. – Он отодвинул стул и положил ногу на ногу; смелым ласковым взглядом окинул отца. Из третьей комнаты через стеклянную дверь доносился приглушенный стук пишущей машинки.

– Я не мешаю вам? – продолжал Рауль.

– Нисколько, – ответил Визенер, в свою очередь внимательно, почти жадно, вглядываясь в юношу. Он незаметно подтянулся. – Как же ты живешь? Расскажи.

Рауль говорил охотно и хорошо. Избалованный, кокетливый, он говорил обо всех, в том числе и о самом себе, с иронией. На всех его знаниях и суждениях лежал отпечаток своеволия. В одних науках он пасовал, зато блистал в других. У него были необыкновенные способности к новым языкам. На днях он позабавился тем, что перевел несколько статей Визенера на французский язык и затем обратно на немецкий.

– При этом я заметил, – сказал он покровительственным тоном, – как улучшился ваш стиль благодаря постоянному общению с нами. Ваш немецкий читается как французский. Вашего Гейне вы хорошо изучили. Но разве такое вам разрешается? И долго ли это будет сходиться вам с рук? – Он улыбнулся отцу и отпил глоток золотистого вина.

Визенер прислушивался к голосу сына, к его неожиданно глубокому для этого тонкого юного лица тембру. Он добродушно относился к подтруниванию Рауля, он старался расположить его к себе не только потому, что от этого зависели его отношения с Леа де Шасефьер. Визенер любил своего сына, видел в нем лучшее отражение собственного «я». Поэтому он с легким сердцем прошел мимо его иронии и спросил, как поживает мать.

В те месяцы, когда национал-социалисты захватили власть и Визенер стал на их сторону, казалось, что мадам де Шасефьер, в жилах которой текла и еврейская кровь, порвет с ним, а капризный, высокомерный Рауль нет-нет да выказывал ему враждебность. Потом, конечно, обошлось: за эти два года Леа де Шасефьер примирилась с его принадлежностью к нацистам, а Рауль – его отцом официально значился чистокровный француз, роялист, убитый на войне аристократ Поль де Шасефьер, – примирился с тем, что фактически он сын Визенера. Но у него были бесконечные рецидивы, все новые и новые припадки строптивости.

Сегодня он был милостив.

– Мама, как всегда, мила и непрактична, – рассказывал он доверчиво и снисходительно. – Сейчас она занята покупкой новой машины. Но если бы я не вмешался – и очень энергично, – она снова выбрала бы «бьюик», а ведь, надеюсь, и вы согласитесь, что, кроме «ланча», ни о чем и говорить не стоит. Кстати, она несколько раз вас вспоминала. Я нахожу, что о вас слишком много говорят, – поддразнил он отца. – Что вы такое опять натворили, для чего вам понадобилось увезти этого журналиста? Вы так себя ведете, что чертовски трудно вас защищать. Я на мамином месте не стал бы этого терпеть. Я бы давно покончил с вами, папа. История с этим журналистом... – Он покачал головой. – Мы читали статью некоего Траутвейна, – он выговорил это имя медленно, но правильно, по-немецки, с почти незаметным иностранным акцентом, – надо сказать, что этот человек прав на сто процентов.

Визенер привык к тону сына, тон этот и шокировал его, и нравился ему, и он охотно мирился с ним. Но на этот раз его поразило, что он услышал похвалу Траутвейну из уст Рауля. Лицо его омрачилось.

Впечатлительный Рауль заметил, что этак недолго испортить отцу настроение. Сегодня это было ему невыгодно: он, разумеется, солгал, ему кое-что было нужно. Поэтому он переме-

нил тему и завел разговор о модных националистских теориях. У него был талант адвоката – представлять все так, как ему в данную минуту было важно. Вообще-то говоря, юноша мнил себя, человека, в жилах которого течет кровь старых культурных народов – латинского, еврейского, – значительно выше своего отца, «боша». Но сегодня он решил, что ему выгоднее занять примиренческую позицию. Он закончил свои рассуждения выводом, что сознательный национализм открывает возможность людям различных наций понимать друг друга лучше, чем расплывчатый интернационализм.

Рассуждения сына понравились Визенеру. Своим четким голосом, не без жара он принялся разъяснять, до какой степени терпим, по существу, национал-социализм. Настоящий национал-социалист заимствует хорошие качества у других народов, он считает желательным усвоить чужие добродетели, разумеется, лишь постольку, поскольку они не идут во вред национальному организму. Рауль слушал с вежливым интересом. Про себя он делал дерзкие иронические замечания. Конечно, папа ассимилировался, поскольку «бош» способен ассимилироваться. Только вопрос, что лучше: настоящий «бош» или наполовину ассимилированный. Что бы папа ни говорил, он только «метек», чужеземец, и место его – по ту сторону Рейна.

Но все эти соображения Рауль оставил при себе. Он был честолобив, в голове его созрел определенный проект, он хотел заручиться поддержкой отца, и идеи, только что изложенные им, были для этого подходящим вступлением. Вот почему Рауль остерегался возражать; наоборот, он оживленно согласился с отцом и лишь выразил сожаление по поводу всех этих бесконечных историй вроде похищения журналиста Бенямина. Надо, сказал он, сделать все возможное, чтобы, невзирая на подобные истории, установить взаимное понимание. Визенер просветлел, видя, что его сын на этот раз проявляет такую зрелость и уступчивость.

– Под этим я подписываюсь обеими руками, – горячо сказал он. – Ясно: французские и немецкие националисты скорее найдут общий язык, чем, скажем, два француза – националист и марксист. Эта общность заключается в том, что мы, два националиста, француз и немец, отвергаем 1789 год и все, что он принес с собой. Мы не признаем *egalite* – равенства людей по рождению, мы видим в этом основном принципе основную ошибку. Мы его отвергаем. Мы отвергаем французскую революцию. Мы стремимся к такому порядку, который признает природные различия между людьми со всеми вытекающими из них практическими выводами. Мы хотим исправить социальные и политические ошибки, которые совершил девятнадцатый век, сбитый с толку 1789 годом. Мы хотим исходить из добрых традиций восемнадцатого. Я и ты, мой мальчик, к счастью, принадлежим к восемнадцатому столетию.

Эти идеи были по душе Раулю. На его красивом удлинённом мальчишеском лице исчезла ироническая черточка, серо-зеленые глаза смотрели на отца не без одобрения.

– Налей мне еще вина, – милостиво сказал он по-немецки; он знал, как доволен отец, когда он обращается к нему по-немецки, и в особенности на «ты», а теперь Рауль считал своевременным проявить великодушие, ибо собирался заговорить о своем плане и заручиться помощью отца.

– Знаешь ли, папа, – начал он доверчивым тоном, все еще по-немецки – легкий акцент лишь подчеркивал, как уверенно он владел чужим языком, – твои слова натолкнули меня на одну мысль. Как ты думаешь: если бы я попытался устроить встречу между нашим клубом молодежи «Жанна д'Арк» и одним из ваших союзов молодежи? По-моему, это было бы очень интересно. Мне кажется, если вообще можно сговориться – а ведь это возможно, ты сам такого мнения, – то лучше всего сделаем это мы, молодежь. А кроме того, – прибавил он с подчеркнутой флиртом, – я лично жду от такой встречи много забавного.

План юноши был совсем нехитрым Визенеру. Конечно, Рауль метит в председатели французской делегации и заинтересован в том, чтобы германская сторона поддержала его кандидатуру. Но если имя Рауля будет названо в такой связи, как легко будет завистникам и соперникам Визенера поднять шум по поводу его отношений с Леа. Конечно, из четырех долей

«дедовской крови» (родителей отца и родителей матери) у Леа была лишь одна «неарийская» и, по существу, его связь с ней нельзя назвать «позорящей расу», но от человека, занимающего такое положение, как он, ждут в этом смысле стопроцентной «чистоты». Ему эта связь может дорого стоить. Сама Леа даже не подозревает о таких уродливых проявлениях расовой спеси в Германии. Как и многие за границей, она считает германский антисемитизм «личным коньком» фюрера и нескольких фанатиков, отвратительным и даже смешным капризом. Как грозно и зловеще этот каприз проявляется в германской действительности, об этом здесь, в Париже, несмотря на газетные сведения, все еще не имеют понятия. Он сам немало писал о том, каким глубоким естественным чувством, каким верным биологическим инстинктом порождены германские расовые теории. Но ведь все это теория, абстракция; когда же он думает о том, что его частная жизнь будет вынесена на суд партии, его в жар бросает. Он представляет себе, какое лицо сделала бы Леа, если бы услышала нечто подобное. От этой мысли ему становится почти физически дурно. Нет, Рауль и его союзы молодежи ему совершенно не с руки.

Тем не менее он остерегся высказать мальчику свои опасения.

– Такая встреча, – сказал он, – тонко задумана. – И он похвалил здоровое честолюбие Рауля. Он об этом поразмыслит, сказал он, но теперь как раз неблагоприятное время. Только что состоялось посещение Берлина французскими фронтовиками, произошли некоторые трения и недоразумения, следовало бы выждать более подходящего момента для подготовки такой встречи. В общем, встреча, если умно за нее взяться и правильно организовать, обещает много хорошего. Он говорил долго и тепло.

Рауль прекрасно понял, что все эти сердечные слова были только уклончивой болтовней. Он чувствовал себя униженным. «В первый раз я обращаюсь к старику с серьезной просьбой, – думал он с ненавистью, – и вот что он мне отвечает. Какие у него основания? Он ничем не хочет меня порадовать, но пусть не рассчитывает, что я отступлю, не тут-то было».

И он с не меньшей дипломатичностью, чем отец, скрыл свои чувства.

– С тобой можно сговориться, – одобрительно сказал он и переменял тему.

– Мама, – начал Рауль, – все еще не хочет, чтобы я заказал себе фрак. Мне семнадцать лет и двести двенадцать дней, – жаловался он, – а у меня все еще нет фрака. Иной раз, когда хочется вечером куда-нибудь пойти, это мне серьезно мешает. Если послушать маму, то я должен ждать, пока меня выберут в академики.

Визенер был доволен, что Рауль не наседает на него, и перестал говорить о юношеском слете. Простая ли это благовоспитанность, или план с самого начала был настолько туманен, что Рауль отступился от него при первом же препятствии? Ни в коем случае нельзя дать мальчику уйти в плохом настроении.

– А что, если мы преподнесем маме сюрприз, как ты думаешь? – предложил он. – Ты просто отправишься к Книце и закажешь себе фрак на мой счет.

«Старый мошенник, – сказал про себя Рауль. – Когда речь идет о моей карьере, он отказывает наотрез, а потом хочет откупиться от меня фраком. Но тут он ошибается. Фрак я возьму, а что касается „Жанны д’Арк“, то тут ему от меня не отвертеться». Лицо его тем не менее сияло.

– Вы и в самом деле хотите заказать мне фрак? – радостно сказал он. – Вот это шикарно. И мы вместе поедем куда-нибудь, спрыснем его.

Разумелось, что это большая милость, и Визенер так это и воспринял. Если у Рауля осталась тень неудовольствия, отцу, очевидно, удалось ее рассеять, и он рад был, что так дешево отделался. А Рауль по-прежнему был очень любезен. Весело, мило, иронически болтая, он выпил свой портвейн, закурил последнюю сигарету, попрощался. Отец и сын расстались в мире и согласии.

Оставшись один, Визенер сел за письменный стол. Но он не читал и не писал. Праздно, без единой мысли, смотрел он на Париж, серебристо-серый город, раскинувшийся у его ног.

Он чувствовал себя опустошенным, как после сильного физического напряжения, каждое свидание с Раулем отнимало у него много сил.

На этот раз все сошло довольно сносно. Когда Рауль заговорил с ним о слете молодежи, Визенер, конечно, сильно испугался. Вот, значит, зачем пришел мальчик. Но он, Визенер, ловко выпутался из этого дела.

Он тяжело поднимается. Он редко ощущает, что уже не очень молод, но сегодня он это ощущает. Перейдя в библиотеку, он останавливается перед портретом Леа. Спокойно, с легкой иронией смотрят на него сверху вниз зеленовато-синие глаза, оттененные темно-каштановыми волосами; крупный хрящеватый нос придает матовому лицу умное, своевольное выражение. Леа немножко надуется, когда мальчик предстанет перед ней во фраке. Не особенно приятно иметь такого взрослого сына. Но вряд ли ей захочется даже самой себе признаться в подлинном мотиве своего недовольства, и Визенеру будет нетрудно ее успокоить. Во всяком случае, юноша ушел от него без неприязни, фрак сыграл роль масличной ветви.

В общем, Рауль любит и понимает его. Мальчик сказал ему несколько одобрительных слов, а в устах Рауля это чуть-чуть снисходительное одобрение равносильно беспредельному восхищению в устах других людей. Рауль пришел не только по делу клуба «Жанны д'Арк», а еще процентов на десять из сыновней любви.

Все же мальчик довольно чувствительно задел его. «Что это вы опять натворили? Статья некоего Траутвейна...» Он еще слышит тон, которым Рауль произнес эти слова, его глухой насмешливый голос. Негодный мальчишка.

Удивительно, до чего его волнует каждое посещение Рауля. Ведь он давно изучил сына до последней черточки. Все, что можно сказать о его отношениях с Раулем, аккуратно записано в Historia arcana. Он достает книгу, читает.

Затем делает очередную запись, рассказывает обо всем, что произошло за день. Старается подстеречь свои мысли в том виде, в каком они рождаются в голове. «Что это вы тут опять натворили?» – записывает он, и дальше: «Статья некоего Траутвейна».

И вдруг он заносит в дневник – он и сам не знает, как это у него вырвалось: «Некоего Траутвейна надо укокошить». «Укокошить» – как странно, что под перо легло это слово из мальчишеского жаргона, обычно он его не употребляет. Но вот оно – черным по белому.

Он перечитывает свою запись: «Укокошить». Он качает головой. И почти машинально отликает свою последнюю фразу в другую форму – совсем не детскую, злобную, мрачную, патетическую: он вписывает цитату из Нового Завета, из главы, где первосвященники слушают, как свидетельствуют апостолы. «Слыша это, – записывает он, – они разрывались от гнева и умышляли умертвить их».

8

Хмурые гости

Во время войны и двух последующих десятилетий в ряде стран произошли государственные перевороты. Они заставили множество людей бежать с родины на чужбину. Таким образом возникла многонациональная эмиграция.

Немецкая эмиграция была более раздроблена, чем всякая другая.

Среди изгнанников-немцев было много таких, которым пришлось бежать вследствие их политического образа мыслей, и было множество людей, вынужденных эмигрировать только потому, что сами они или их родители по метрическим записям числились евреями. Было много евреев и неевреев, которые ушли добровольно, не будучи в силах дышать воздухом «третьей империи», и много таких, которые охотнее всего остались бы в Германии, если бы только им позволили каким-нибудь образом добывать средства к жизни. Но именно в этом и заключался важный пункт национал-социалистской программы – по сути дела, единственный, который легко было осуществить: лишить возможности существования политических противников, личных врагов или конкурентов новых хозяев и тех, которые значились в метрических книгах евреями: пусть околевают, как рыба в высохшем пруду. Многие из германских эмигрантов побывали в тюрьмах, подверглись избиениям, унижениям, издевательствам, у многих были друзья и родственники, погибшие в Германии, многие вели борьбу за пределами «третьей империи» с целью свержения ненавистного режима. Но были и такие, которые разделяли образ мыслей новых хозяев, которые никогда не чувствовали и вряд ли даже знали, что они евреи. И когда вдруг оказалось, что они внесены в какие-то книги в качестве евреев и, следовательно, несут на себе клеймо «низшей расы», им, согнанным с земли их многовековой родины, пришлось скрепя сердце покинуть ее. Таким образом, в эмиграции были всякого рода люди: такие, которых из Германии погнали их убеждения, и такие, которые бежали только из-за метрики или другой случайности; были добровольные эмигранты и эмигранты поневоле.

Среди ста пятидесяти тысяч изгнанников были, кроме того, люди не только разных политических взглядов, но и разных социальных положений и разных характеров. А между тем на всех, хотели они этого или не хотели, навесили один и тот же ярлык, все варились в одном и том же котле. В первую очередь это были эмигранты и лишь во вторую – люди, со всем, что людям свойственно. Многие возмущались таким внешним делением, но это им не помогало. Эмигрантская группа существовала, они к ней принадлежали, и эта связь оказывалась нерасторжимой.

Для большинства добровольное или вынужденное бегство из Германии сопровождалось утратой положения и состояния. Пришлось отказаться от должности, оставить в Германии свои деньги, ибо брать их с собой не разрешалось. Как же иначе могла бы правящая клика выполнять обещания, данные своим сторонникам еще до того, как она добралась до кормила власти? Таким образом, германские эмигранты жили большей частью в нужде. Были врачи и адвокаты, которые теперь продавали вразнос галстуки, выполняли конторскую работу или же тайком, нелегально, под вечной угрозой полицейских преследований пытались применить свой опыт и знания. Были женщины с высшим образованием, которые зарабатывали себе кусок хлеба, работая продавщицами, служанками или массажистками.

Куда бы ни приходили эти хмурые гости, они были нежеланными. Земля и работа были поделены между нациями, между политическими и социальными кликами. В силу беспланового производства и бессмысленного распределения большая часть населяющих планету людей голодала, хотя склады были переполнены продовольствием; несмотря на товарный голод и изобилие рабочих рук, много машин стояло без употребления. Не было больше стран, где нуж-

дались бы в пришлых способных людях. Напротив, везде косились на чужеземцев, которые хотели работы и хлеба.

Им не разрешали работать, едва разрешали дышать. От них требовали «бумаг», удостоверений. Этих бумаг у них не было, или их оказывалось недостаточно. Многие бежали, не имея возможности взять с собой документы, у большинства срок паспортов истекал, а власти «третьей империи» отказывались возобновить их. Таким образом, изгнанникам трудно было добиться подтверждения, что они были тем, чем они были. Во многих странах это служило желанным предлогом избавиться от них. Случалось, что людей, не имевших бумаг, жандармы ночью тайно перебрасывали через границу в соседнюю страну, а следующей ночью жандармы соседней страны так же тайно перебрасывали их обратно.

Лишь немногим пошла на пользу страдания, которые им пришлось претерпеть. Ибо страдания только сильного делают сильнее, слабого же они делают еще слабее. Старый немецкий язык знал для обозначения гонимых, изгнанников два слова: *Recke* – теперь-то оно значит «богатырь», а раньше значило не что иное, как именно «изгнанный», «опальный», и слово *Elender* – «несчастный», «горемыка» – оно опять-таки значило «человек без земли», «согнанный с земли».

Так мудрость немецкого языка обозначает оба полюса понятия «эмигрант». Среди германских эмигрантов большинство составляли «горемыки», а «богатырей» было немного; ибо убеждения, верность принципам – достояние, от которого отказываются скорее, чем от хлеба насущного и от масла к нему, и если приходится выбрасывать за борт балласт, то прежде всего освобождаются от морали. Многие из эмигрантов опустились. Их дурные качества, скрытые и обузданные в условиях благополучия, выступили на поверхность, их хорошие качества обратились в свою противоположность. Осторожный стал трусом, смелый – преступником, бережливый – скрягой, люди широкой натуры стали авантюристами. Многие носились с собой как одержимые, потеряли всякое чувство меры, перестали различать, что дозволено и что не дозволено; нужда стала для них оправданием всякой разнузданности и произвола. Они сделались плаксивыми и раздражительными. Выброшенные из надежных условий существования в ненадежные, они ожесточились, стали в одно и то же время наглы и угодливы, неуступчивы, требовательны, хвастливы. Они походили на плоды, преждевременно сорванные с дерева, незрелые, сухие, терпкие.

Чем больше увядали их надежды на скорое возвращение домой или по крайней мере на обеспеченную жизнь, тем ниже они падали. Иной считал для себя позором, что он эмигрант, он робко пытался это скрыть, и, разумеется, безуспешно. А иной, именно потому, что у него ничего не осталось, кроме звания эмигранта, спесиво выставлял его напоказ, находя в нем оправдание для своих неумеренных претензий. Разве не были эмигрантами Ганнибал, Данте, Виктор Гюго, Рихард Вагнер? Выставляя этот довод, они забывали, что к эмигрантам принадлежал и плюгавый белогвардеец Максимов, сутенер и вышибала из кабачка «Колчак» на Монмартре, и господин Розенбаум, который старался всучить покупателю вискозный галстук вместо шелкового, и господин Лембке, носившийся с мыслью предложить себя германской полиции в качестве шпиона.

Их не любили, германских эмигрантов, эти чужаки вынуждены были общаться главным образом друг с другом. И оттого их горе и отчаяние часто выливались во вздорную мелочную грызню, каждый бессознательно видел в другом собственные недостатки, собственную мелкотравчатость и неполноценность. Все хотели одного и того же: паспортов, разрешения на работу, денег, новой родины, а лучше всего – возвращения на старую, освобожденную. Но основания для этих желаний были различны, различны были цели и пути, и то, что одному казалось прекрасным, было ужасом для другого. Вынужденная близость душила людей даже в тех случаях, когда у них были общие цели и общий путь, и люди разочаровывались друг в друге. Вспыхи-

вала ненависть, иногда смертельная вражда, и часто один более или менее искренне подозревал другого в равнодушии или измене общему делу.

Да, изгнание кромсало, принижало, сокрушало многих; но изгнание и закаляло, делало многих богатырями, героями. Жизнь оседлого человека требует иных добродетелей, воспитывает иные качества, чем существованиеномада, кочевника. Но в век машин, в век, когда машина сгоняет с земли большинство крестьян, добродетели кочевников по меньшей мере так же важны для общества, как добродетели оседлых, они особенно нужны тому, кто вынужден ежедневно наново завоевывать право на жизнь. Эмигранты имели меньше прав, чем другие, но много ограничений, обязанностей и предрассудков для них отпало. Они стали более поворотливыми, быстрыми, гибкими, твердыми. «Камень, который катится, не обрастает мохом», – говорит старый Себастьян Франк. Такое состояние явно казалось этому немецкому писателю преимуществом.

Многие в изгнании измельчали, но лучшим оно дало широту, гибкость, понимание существенного, великого, оно научило их не цепляться за несущественное. Если тебя бросало из Нью-Йорка в Стокгольм или Капштадт, тебе волей-неволей приходилось, чтобы не погибнуть, задуматься над многими вещами и глубже заглянуть в них, чем тем, кто просидел всю жизнь в своей берлинской конторе. Многие из эмигрантов внутренне созрели, обновились, помолодели; завет «смерть для жизни новой», превращающей человека из хмурого гостя нашей земли в радостного, они познали на опыте и глубоко освоили.

На таких эмигрантов возлагали большие надежды внутри и за пределами «третьей империи». Думалось: эти изгнанники избраны и призваны прогнать варваров, завладевших их родиной.

9

В эмигрантском бараке

Эмигранты издавали целый ряд газет и журналов, была даже одна ежедневная газета, «Парижский листок». Но своим наиболее авторитетным печатным органом они считали «Парижские новости» с их превосходным культурно-политическим отделом, работа которого строилась на строго проверенных данных. Выходила эта газета три раза в неделю.

Аппарат «Парижских новостей» был невелик, редакторам приходилось выполнять множество обязанностей, которые в более крупных газетах возлагались на технических работников, и Зепп Траутвейн часто страдал оттого, что делал работу, которую мог бы выполнить кто угодно. Стоило ли для этого отказываться от музыки? Но он говорил себе, что и такая работа нужна, что она служит великому делу. Ибо, несмотря на всю бедность внешнего оформления, «Парижские новости» не были обычной мелкой газетой: они были голосом немцев – противников фашизма.

Они были голосом немецкого народа. Они были голосом большинства немцев, восставших против правящего варварства. Но этому большинству заткнули рот, оно не могло кричать. Здесь, в «Парижских новостях», германский народ снова обретал свой голос. Голос негромкий, и все же он явственно звучал среди оглушительного шума, производимого варварами, и варвары всем своим гигантским аппаратом насилия не могли заставить его замолчать. День за днем возвещал этот голос равнодушному миру, какая чудовищная несправедливость, какие злодеяния совершаются в сердце Европы.

Германские эмигранты, пожалуй, и не мыслили уже свою жизнь без «Новостей». Практической помощи газета им не оказывала. Но она существовала, им не приходилось по крайней мере страдать безмолвно. Были уста, которые выкрикивали в мир их отчаяние, их надежду, их горе, их страх, их мужество, их нужду, их величие.

Зепп Траутвейн работал с ожесточением. Во всем, что он писал, звучала убежденность, что справедливое дело победит и что крушение варварства в Германии не за горами. И все же у него не выходили из головы насмешливые слова Оскара Чернига, потешавшегося над его легковерием в унылом кафе «Добрая надежда». Его нетерпение росло с каждым днем. Прошло почти три недели, как исчез Фридрих Беньямин, и никто еще пальцем о палец не ударил. Никто не знал о его судьбе. Его уволокли через германскую границу – это все, что было известно.

Наконец двадцать девятого марта, через три недели после отъезда Беньямина, швейцарское правительство опубликовало сообщение, которое дало новый толчок затихшей борьбе за Беньямина.

Швейцарские полицейские власти собрали такие неопровержимые улики, что арестованный Дитман под их тяжестью сложил оружие. Он дал подробные показания, назвал и выдал своих пособников. Ими оказались официальные германские инстанции.

Швейцарская полиция выяснила следующее: десятого марта Беньямин встретился с Дитманом и еще одним германским агентом в Базеле, в ресторане, на расстоянии всего лишь нескольких сот метров от границы. Было заказано «такси», и все трое сели в него, направляясь якобы за бумагами, о которых хлопотал Беньямин. У самой границы мнимое «такси» вдруг дало полный ход, так что швейцарский пограничник вынужден был посторониться, и, взяв бешеный темп, со скоростью семьдесят километров в час, проскочило через обе границы – швейцарскую и германскую. На всех других германских пограничных пунктах шлагбаум был всегда опущен, ибо «третья империя» отгораживалась от остального мира, она не желала выпускать свои деньги и впускать к себе крамольный дух. Шлагбаум на базельской границе с ноября тоже всегда был опущен. А в ту ночь, десятого марта – и этот факт представлял наиболее вескую улику против германских властей, – шлагбаум был поднят. Таким образом, было

неопровержимо доказано, что по поручению германских властей Фридрих Бенъямин был хитростью похищен с чужой территории и силой перевезен через германскую границу.

Траутвейн не признавался себе, как терзало его ожидание. Теперь, читая сообщение официального швейцарского телеграфного агентства, он ликовал, щелкал языком, его глубоко сидящие зеленовато-карие глаза сияли на костлявом лице. Он так и знал: мимо этого насилия нельзя пройти молча.

Сангвинику Траутвейну захотелось передать свою радость и другим. Именно скептику он хотел передать ее, скептика он хотел одарить, ему доставить удовольствие. Он решил напечатать стихи Чернига.

Он тотчас же взялся за дело. Пошел к главному редактору Гейльбруну. Тот принял его, как всегда, величественно и с видом человека, который не выспался.

– Вы можете уделить мне немного времени? – просительным тоном сказал Траутвейн. – Мне хотелось бы прочесть вам несколько стихотворений.

– Это необходимо? – спросил усталый Гейльбрун.

– Замечательные стихи, – уверял с воодушевлением Траутвейн.

– Чьи? – недоверчиво спросил Гейльбрун.

– Я скажу вам потом, – ответил Траутвейн и достал рукопись.

– Ну ладно, только ради вас, – уступил Гейльбрун.

Он лег на софу, придававшую его кабинету уютный вид, закрыл глаза и заложил руки под голову. Его большое квадратное лицо, обрамленное седыми, коротко подстриженными жесткими волосами, выражало усталость.

Траутвейн читает стихи, которые декламировал ему Черниг в кафе «Добрая надежда». У него они звучат иначе, чем в передаче Чернига: они преобразились, но не утратили своей силы и даже как будто звучат с новой силой, освобожденные от двусмысленной обстановки кабака и небезупречной личности Чернига. Он читает стихи с увлечением, хорошо, по-мюнхенски. «Ни один человек не знает, как на самом деле звучит его голос, – думает он, читая. – Резонанс в голове меняет окраску голоса. Когда слышишь свой собственный голос на пластинке, не узнаешь его. Но эти стихи хороши, каким бы голосом их ни читать».

Главный редактор Гейльбрун лежит на софе, закрыв глаза, и слушает. У него хорошее ухо, и он быстро узнает поэта. Он терпеть не может Чернига; этот опустившийся, экзальтированный человек с его сумасшедшим нигилизмом противен ему, как и многим другим; в Германии у Чернига часто бывали скандальные истории. Места в «Новостях» мало, и есть более важные вещи для заполнения немногих столбцов, чем стихи Оскара Чернига. Кроме того, сумма гонорара, которой располагает газета для оплаты фельетонов, слишком мала, и было бы неразумно расходовать из этой ничтожной суммы какие-то деньги на стихи. Но с другой стороны, Гейльбрун – старый, матерый либерал, он не прочь слегка пугнуть бюргера, и прежде всего Гингольда. Забавно бывает иногда его позлить. Да и Черниг, как он ни противен, без сомнения, талантлив, а Траутвейн – приятный сотрудник, покладистый и одаренный человек. Почему бы не исполнить его просьбу?

– Хорошо, – решает он. – Ради вас, Траутвейн, напечатаем вашего Чернига. Но политическое стихотворение пока отставим. По существу, это оскорбление некоего главы государства. Все-таки я еще подумаю: стихи хороши, и именно поэтому сомнительно, поймут ли их нацисты. А эротическое стихотворение, то, знаете, с горьковато-сладким запахом лона, это мы давайте сразу выкинем. Ваш Черниг, конечно, совершенно прав: для нигилиста его наблюдения поразительно верны. Но эмигранты не смеют говорить всю правду, а то их сейчас же обвинят в порнографии.

Траутвейн рассмеялся своим звонким, громким, визгливым смехом, за ним и Гейльбрун. Стихи были напечатаны.

Впечатление было именно то, какое оба они предвидели. Стихи Чернига показались странными, некоторые читатели были возмущены. Господин Гингольд выразил свое неудовольствие. Как это случилось, что на такие непристойные и к тому же неудобопонятные стихотворения тратятся его тяжелым трудом заработанные франки?

– Не будете ли вы любезны, дорогой профессор, – спросил он ехидно, – объяснить мне стихи этого вашего Чернига? Я прочел их дважды, но ничего не понял.

Траутвейн посмотрел на жесткое, сухое лицо Гингольда, на его глазки, смотрящие из-под очков, на его четырехугольную, черную с проседью бороду и фальшиво-любезную улыбочку. Его сухой скрипучий голос действовал Зеппу на нервы.

– Если вы не почувствовали в них смысла, – ответил он подчеркнуто грубо, – то никогда его и не уловите.

– К сожалению, – сказал господин Гингольд, – я не единственный, кто его не улавливает. Моих читателей постигла такая же неудача.

* * *

Гораздо больше, чем неодобрение Гингольда, Зеппа удивило, что сам Оскар Черниг остался недоволен. Он пришел в редакцию такой замызганный и засаленный, что его не хотели впускать.

– Ну и зазнались же вы тут, – принялся он ворчать, когда наконец пробился к Траутвейну. – Подумаешь, двор Филиппа Второго. – Траутвейн сидел перед ним за письменным столом Бенямина; в большой неуютной комнате трещали машинки, сотрудники диктовали или болтали, редакторы и стенографистки – одни брезгливо, другие насмешливо – смотрели на человека, у которого был вид бродяги, на этого исполинского грязного младенца, наседающего на коллегу Траутвейна.

Черниг не только не поблагодарил за напечатание своих стихов, но язвительно удивился тому, что отвергнуты как раз два лучших его стихотворения. Траутвейн старался объяснить, почему их не сочли возможным напечатать. Но Черниг продолжал издеваться:

– Даже тут вы пасуете, а еще хотите уверить меня, будто добьетесь освобождения вашего Бенямина. Нет, профессор, зря, зря вы забросили вашу музыку. – Маленькие глазки насмешливо смотрели из-под громадного, переходившего в лысину лба. Траутвейна бросало то в жар, то в холод. Снова охватило его суеверное чувство, которое так часто посещало его в первые дни работы за этим столом и лишь в последнее время рассеялось: странный, бесплотный образ Фридриха Бенямина опять стоял перед ним, и слышалась тихая, жуткая, призрачная музыка «Каменного гостя». Призрак Бенямина иронически усмехался, как бы соглашаясь с Оскаром Чернигом, красивые глаза грустной клоунской маски смотрели с упреком и вызовом, тубы открылись и прошептали на ухо Траутвейну: «Лентяй, мозгяк, хвастунишка, чего ты, в самом деле, добился?» Траутвейн сделал над собой усилие и прогнал видение. Он улыбнулся товарищам, словно дружески извиняясь за истеричного поэта, и попытался разъяснить Чернигу, что тот отчаянно преувеличивает, ведь вот сколько уже достигнуто – показания Дитмана, коммюнике швейцарского правительства, неопровержимые улики против гитлеровцев. Но как он ни старался подавить посеянное Чернигом сомнение, оно где-то глубоко засело в нем.

Он больше и слышать не хотел об этом деле. И заговорил о молодом человеке, которого Черниг так расписывал ему в кафе «Добрая надежда», о талантливом – как же его зовут? – господине Майзеле. Нельзя ли почитать его вещи? Не приведет ли его Черниг? Черниг отказался.

– Мой Гарри Майзель, – заявил он, – не вернется к цивилизации. Мой Гарри Майзель останется в ночлежке. Он и ночлежка нераздельны. Единственный в нашем поколении немецкий мастер прозы в эмигрантском бараке – это символ нашего мира. Если вы хотите его видеть, профессор, то уж соблаговолите спуститься к нам.

Время Траутвейна было заполнено до отказа. Но в словах Чернига ему почудился упрек в инертности, в душевной лени. Он поехал в барак, на этот раз днем.

Траутвейн представлял себе Гарри Майзеля похожим на Чернига. Тем более удивился он, когда среди безотрадно голой нищеты барака увидел красивого юношу с веселым лицом, тщательно одетого. При всем том Гарри Майзель не был нелюбим в ночлежке: его заботливое отношение к своей внешности, по-видимому, не задевало обитателей барака. Его молодость, природное очарование чистого, до страстности выразительного лица и стройной фигуры обезоруживали их злобную насмешливость.

Девятнадцатилетний юноша с величественной любезностью пригласил Траутвейна сесть на свой матрац. Сам он уселся на этом потрепанном матраце так непринужденно и естественно, как в удобном кресле, Траутвейн же сидел в неудобной позе, высоко подняв острые колени.

Молодой человек понравился Траутвейну с первого взгляда, и он призвал на помощь все свое мюнхенское добродушие, чтобы завоевать его доверие. Без назойливости, с искренней теплотой он расспрашивал юношу о его судьбе, и Гарри Майзель, не таясь, рассказал ему свою историю.

Он был сыном галицийского еврея, который незадолго до войны поселился в Германии и там нажил состояние. Папаша Майзель и особенно, пожалуй, мамаша Майзель лелеяли честолюбивую мечту завоевать положение в обществе. Его, Гарри, как только он начал мыслить и рассуждать, всегда отталкивали их образ жизни, низкопоклонство и спесь выскочек. Когда гитлеровцы очутились у власти, семейству Майзель грозила высылка, но папаша Майзель не пожалел взятки. Молодой Гарри, которому опротивели и семья, и порядки «третьей империи», покинул Германию. Родители отказались посылать ему на жизнь, хотели заставить его вернуться. Существование в парижском бараке для эмигрантов он предпочел жизни в комфортабельном берлинском доме родителей. Вот и все.

— *Me voilà*⁸, — заключил он свой сухой отчет. Траутвейну хотелось бы услышать больше. Отдельные эпизоды дают лучшее представление об истории жизни человека, чем рассказ. Он пытался выведать у Гарри Майзеля какие-либо подробности. Гарри не то чтобы скрытничал — он чувствовал в словах Траутвейна искреннее участие, — но ему было неприятно рассказывать о своем прошлом. Он ограничился намеками, остальное Траутвейну пришлось угадывать. Иногда Черниг дополнял его слова, и Траутвейн, втайне забавляясь, видел, сколько нежности к юноше скрывалось за цинизмом Чернига.

Траутвейн осторожно спросил, почему Гарри так бездейственно и покорно торчит здесь, в ночлежке, не пытался ли он или не намерен ли попытаться тем или иным способом зарабатывать деньги. Гарри пытался, но безуспешно и вскоре махнул рукой.

— Мы живем, — сказал он деловито, — в век мелких обманщиков. — Поэтому у него, Гарри Майзеля, мало шансов пробиться. Коротенькие новеллы для газет у него не получаются. При таком положении вещей место его здесь, в бараке. «Бедность — это яркий блеск изнутри», — писал Рильке. Сам-то Рильке, конечно, не был беден. — Бывают, впрочем, и бедные поэты, — вслух размышлял Гарри, — но бедность бедности рознь. Лессинга одолевали денежные заботы, Шиллера тоже. Но Шиллер, например, при всем том мог позволить себе роскошь иметь слугу. В общем, не выяснено, благодаря ли бедности эти поэты создали столько ценного или несмотря на бедность. Вийон, — воскликнул он, вдруг оживившись, — тот был, пожалуй, действительно беден. Живи он в наше время, и он был бы здесь, в бараке, — закончил он убежденно.

Так говорил он, приветливо, в тоне непринужденной беседы, без рисовки и без горечи. Мысли, по-видимому, прихотливо возникали в нем, и он выражал их в той форме, в какой они приходили ему в голову. Обычно Траутвейн не любил такой манеры, считал ее «дешевым блеском», он недоверчиво относился к людям столь яркого, эффектного обаяния. Но Гарри

⁸ И я здесь (*фр.*).

Майзель, как с удивлением отметил он, с каждой минутой все больше влек его к себе. Он не мог оторваться от его глаз, широко расставленных, быстрых, живых глаз, которые всегда оставались чуть-чуть печальными, и ироническая, высокомерная болтовня юноши не раздражала его. Сам он в девятнадцать лет был неуклюж и скрытен. У еврейских интеллигентов можно часто встретить такую раннюю зрелость. Гофмансталь уже в восемнадцать лет стяжал свои первые лавры. Вейнингеру было девятнадцать, когда он задумал свою большую книгу.

Гарри Майзель говорил теперь о том, что, по его скромному мнению, мысль писателя нельзя ограничивать мелкими масштабами времени.

– Я не чувствую себя человеком 1935 года, – заявил он. – Я – человек третьего тысячелетия. В этом, разумеется, ничего приятного нет, ведь в наше время большинство людей не достигло еще даже порога второго тысячелетия. Ибо, надеюсь, все согласны со мной, что утверждение, будто фашисты вернули нас к Средним векам, – наглое оскорбление Средневековья. Ведь феодализм, аристократическое господство, готика – культурные явления, недоступные кругозору жителя первобытных лесов. Между Ренессансом, как его описал Макиавелли и каким воплотил его Цезарь Борджиа, и концентрационными лагерями Гитлера или тридцатым июня лежит такая же пропасть, как между Флоренцией и Дахау. Трудность нашего положения в том, что значительное большинство современных умов еще не достигло уровня Средневековья, это люди первобытных времен, между тем как единицы шагнули далеко в будущее. Когда я стараюсь ориентироваться на нашей планете, меня больше всего смущает факт, что на ней одновременно живут такие люди, как Зигмунд Фрейд и Гитлер; ведь само устройство их мозга до того различно, что предполагает тридцать тысяч лет эволюционного развития. Гитлер и Фрейд – современники; нет, представить их себе рядом я никак не могу. Это сбивает меня с толку. Надо иметь много досуга, чтобы в этом разобраться. Досуг, правда, у меня здесь есть, что верно, то верно.

Тон, которым говорились эти слова, был так прост и мил, что Траутвейн почти не чувствовал их приподнятости. Он почти не чувствовал ее и в дальнейшем разговоре. Его лишь покорило самодовольство, с которым Гарри Майзель подчеркнул свое нежелание вернуться «в Египет, к его котлам с мясом».

– Я слишком щепетилен, – сказал юноша полушутя, – я разрешаю себе чересчур большую совестливость. Любопытно, долго ли еще общество будет позволять мне такую роскошь, как собственные убеждения?

– Не дадите ли вы мне что-нибудь из ваших вещей? – спросил Траутвейн.

– Вещей? – задумчиво переспросил Гарри Майзель. – Пожалуй, это подходящее слово. Я дам вам из моих «вещей» ту, которая кажется мне наиболее «ходкой». – Эта новая дерзость прозвучала так безобидно, что Траутвейн только улыбнулся.

– Дайте, какую хотите, – ответил он, – при условии, что она сделана честно.

– Вы требуете многого, – сказал Гарри, доставая рукопись из-под матраса. – Пожалуйста, не подходите к моим вещам с неправильной меркой, – просительно сказал он, подавая ему рукопись. – Они, надо признать, написаны не кровью сердца, а с намерением заработать деньги.

С двойственным чувством отправился домой Траутвейн. Яркое своеобразие юноши произвело на него впечатление; но, когда Траутвейн со свойственной ему медлительностью все продумал, ему показалось, что в речах Гарри много снобизма и кичливости. Он почти боялся «вещи», которую дал ему Гарри. Он боялся, что она претенциозна, неестественна, он был бы разочарован, если бы она оказалась несостоящей.

Рукопись была озаглавлена «Сонет 66». В качестве эпиграфа ей был предпослан сонет Шекспира, начинающийся словами: «Зову я смерть. Мне видеть нестерпимое...» В замечательных, полных отчаяния стихах изливает поэт свою жалобу на растленность века. Ничтожество красуется в блеске и великолепии, чистая вера удушена, добрая слава постыдно предана на осмеяние негодяям, сила калечится несправедливым строем, заслуги попираются, личность пора-

бощена, искусство сковано властью, ум лечится безумием, добро и зло утрачивают свою сущность. Гарри Майзель предпринял смелую попытку написать к каждой строчке сонета рассказ, действие которого разыгрывается в «третьей империи», и таким образом, в своеобразном сотрудничестве с Шекспиром, откликнуться на события в гитлеровской Германии.

Рассказам предшествовало предисловие, «О свободе». Траутвейна неприятно задела манера Гарри Майзеля, осмеявшего в этом предисловии обычные понятия свободы, равенства и демократии. Молодой автор разделял ленинское положение о том, что, пока не упразднены классы, все словопрения о свободе – пустая болтовня и буржуазный предрассудок. Что это за свобода, издевался он над современными демократиями, когда к старту хотя и допускаются все, но один стартует в собственном автомобиле, а другой за отсутствием средств вынужден плестись пешком. О свободе печати он говорил так же насмешливо, как Гёте или Смоллет. В гитлеровской Германии его отталкивало не отсутствие «свободы», а отсутствие разума. Не диктатура как таковая возмущала его, а диктатура глупости и подлости над разумом и индивидуальностью.

Такие холодные, насмешливые умствования в устах девятнадцатилетнего юноши вызвали у Траутвейна чувство досады. Кокетливая дерзость молодого человека, скрашенная в разговоре личным обаянием, выступила в этих строках в голом и отталкивающем виде. Траутвейн прощал сорокалетнему Оскару Чернигу его циничность, его нигилистический аристократизм, но в девятнадцатилетнем юноше такое высокомерие его возмущало. «Этакий сопляк, – ругался он, – этакий желторотый мудрец, этакий молокосос».

Но чем-то совсем иным пахло на него от самих рассказов. Технически рукопись была написана из рук вон плохо, изобиловала описками, многое приходилось угадывать, но Траутвейн, прочитав первые страницы, уже не мог оторваться. Его ожидала срочная работа, его звали, а он читал. В этом цикле рассказов «Сонет 66» уже не было ни озлобления, которое чувствовалось в предисловии, ни пафоса, ни сентиментальности, ни насмешки, ни горечи. Уверенное художественное чутье все это вытравило, в рассказах остались только люди и их судьбы. При этом личность автора нисколько не стушевывалась. Но он осуществил идеал высокого искусства: он растворился в своем произведении. Он, подобно богу Спинозы, пребывал всегда и во всем, но невидимо.

Траутвейн думал, что он знает эмиграцию. Но он заблуждался. Только теперь, читая вымышленные повести цикла «Сонет 66», он узнал ее. Он понял, что до сих пор видел лишь отдельные детали, их последовательность во времени и пространстве. Теперь он единым взором охватил величие и ничтожество, простор и тесноту изгнания. Никакое описание, никакой опыт, никакое событие не могли дать такую целостную картину изгнания, так вскрыть его внутреннюю правду, – только искусство.

Траутвейн читал, чувствовал, постигал. Часто он откладывал рукопись в сторону и принимался шагать по комнате, взволнованный какой-нибудь подробностью. Ему хотелось задержаться на ней, но в то же время тянуло читать дальше. Он понял печаль, которая неотступно смотрела из глаз молодого писателя. Чего только, должно быть, не пережил этот юноша, прежде чем сумел так холодно, четко, рукой мастера изобразить бессмысленные, возмутительные, ужасающие события.

Траутвейн решил всеми силами отстаивать новеллы Гарри Майзеля. Но что мог он сделать? У него было достаточно опыта, чтобы понять, как трудно найти издателя для этой рукописи. «Сонет 66» не был ходким товаром: он не отличался ни пафосом, ни сентиментальностью, а эмигрантская литература не имела широкого круга читателей.

Он послал рукопись Жаку Тьюверлену. Этот большой писатель был человек с душой; если он возьмется проложить путь этой книге, дело Гарри Майзеля выиграно.

10

Зарницы нового мира

Походка молодого Ганса Траутвейна отличалась такой степенностью, что товарищи над ним подтрунивали, но в этот мартовский вечер он почти бежал. Носки он ставил чуть внутрь, но ступал не так неловко и суетливо, как отец, а твердо и уверенно. Он был без шапки, брызги теплого мартовского дождика падали на темно-русые жесткие волосы; иногда он машинальным движением отирал влагу с широкого лба.

Глупо, конечно, так бесцельно слоняться под дождем. Еще несколько дней назад он с дерзкой уверенностью объявил, что до конца года сдаст экзамен на бакалавра. Лучше было бы поэтому сидеть дома и корпеть над Тацитом. Но сегодня он не мог больше торчать в гостинице «Аранхуэс». Обычно его не трогает, что мать, когда он работает, занимается своими домашними делами и невольно поднимает шум. Но сегодня ему невмоготу было слушать стук ее швейной машинки.

Вконец расстроила его болтовня отца. В общем он с Зеппом ладит. Отец обращается с ним как нельзя лучше, совсем как со взрослым. И Ганс никогда не забывает, что оба они, Зепп и мать, изнуряют себя работой, лишь бы дать ему спокойно добраться до диплома; он очень ценит это. К тому же Зепп неглуп и музыку, надо думать, пишет хорошую; он-то, Ганс, ничего в этом не смыслит. Но когда отец заговаривает о политике, он несет такую чушь, что сил нет слушать. У него точно шоры на глазах. Иногда Ганс пытается с ним спорить. Но что толку? Зепп не соглашается с его доводами, оба вязнут в мелочах, Зепп начинает кричать и порет еще большую чепуху. Последнее время Ганс решил не возражать ему. Но это тоже неприятно. Держишь ли язык за зубами или высказываешься – и то и другое к добру не ведет. Получается черт знает что.

А между тем ему жалко Зеппа: он корпит над работой и пишет до боли в пальцах, причем то, что он пишет, вовсе не плохо, но неверно, сплошная идеалистическая труха. Отец принадлежит к погибшему поколению, к поколению империалистической войны. Тут уж ничего не поделаешь. Человек с прошлым Зеппа, сросшийся со своим классом, не может переучиться. Старого пса не научишь танцевать.

Но уж если он не может говорить с Зеппом о политике, то следовало бы по крайней мере поставить его в известность о своих личных планах. Зепп думает, что Ганс навсегда останется во Франции, а он и не помышляет об этом. Его тянет совсем в другие места – на Восток, в Москву. Только там имеет смысл работать архитектору. Туда он, конечно, и поедет. Это для него так же непреложно, как учение о классовой борьбе. Но разве Зепп не имеет некоторого права знать об этом? Во-первых, он отец, а во-вторых, человек, который платит за все. Гансу не раз хотелось откровенно поговорить с ним, но слова застревали у него в горле. Его личные планы и его политические взгляды – это так связано, что нельзя говорить об одном, не говоря о другом. А спорить с Зеппом о политике у него нет ни малейшей охоты, ведь это безнадежно.

В сущности, ему, Гансу, чертовски легко живется. Он превосходно знает, для чего родился на свет, у него есть уверенность, основанная на разуме, и эта уверенность для него прибежище, в котором он чувствует себя, как улитка в своей раковине.

Еще и сейчас он весь съеживается, вспоминая, как все было безотрадно в нем и вокруг него, прежде чем он обрел эту уверенность. Правда, попав в Париж, он стиснул зубы, но все равно было нелегко. Мюнхен остался позади; почти все, чему он научился в Германии, теперь никому не было нужно. Пришлось начинать все сызнова. В пятнадцать лет он был беспомощнее двенадцатилетнего французского мальчика. Да, поступив в парижскую школу, он на первых порах чувствовал себя дьявольски скверно. Товарищи были замкнуты, враждебны, Учителя любопытны, недоверчивы, холодны, язык ему не давался, над ошибками его потешались. А

помощи не было. Он ужасно тосковал по Мюнхену, по горам, по товарищам, по своей парусной лодке на Аммерском озере, и, если бы не родители, он предпочел бы остаться в Германии, даже под угрозой, что его заставят вступить в «гитлеровскую молодежь». Нет, не хотелось бы ему еще раз пережить это мрачное, безрадостное время, первые месяцы пребывания в Париже.

Ему и не придется вторично его пережить. Когда наконец уяснишь себе, что зло, с которым ты борешься, не каприз коварной и непостижимой судьбы, что оно создано людьми, заинтересованными в упрочении своей власти и умножении своих прибылей, и что, следовательно, с ним можно покончить, устранив тех, кто в нем заинтересован, – стоит уяснить себе все это, и у тебя сразу появляется задача, жизнь обретает смысл и уже никогда не покажется тебе безнадёжной.

Едва поняв великую взаимосвязь происходящего, он тотчас же решил, что ему делать. Он станет архитектором – это его давнишняя мечта. Дома, улицы, города всегда интересовали его, он жадно вбирал в себя образ Мюнхена, а теперь – Парижа, он по-детски радовался, что ему удалось спасти и увезти в Париж свой строительный набор. Но очарование, которое заключалось для него в домах и городах, никогда не выходило за рамки эстетического. Как ни странно, название одной книги преобразило это светлое чувство в нечто более глубокое, содержательное.

«Сто пятьдесят миллионов строят новый мир». Уже одно название взволновало его. А когда он прочел саму книгу, героический отчет, да что прочел – впитал в себя, как губка впитывает воду, – когда он узнал, что люди на Востоке в буквальном смысле слова перестраивают свою жизнь, возводят новые дома на месте старых, создают в пустыне, на голой земле новые города, а старые перекраивают заново, – все в нем до самого основания всколыхнулось, как будто сам он был чем-то старым, подлежащим перестройке.

Строить. Тогда, читая книгу, он понял, что рожден строить вместе с этими людьми, творящими новый мир, в буквальном смысле слова строить сообща с ними, сообща планировать, создавать города. Радость, которую вызывали в нем форма, образ, дополнялась и углублялась жаждой технического претворения своих идей, жаждой конструирования.

В то время он по дороге в лицей ежедневно проходил мимо одной новой стройки. И каждый раз останавливался, вглядывался в нее. А после того как прочитал эту книгу, он смотрел на рождающееся здание совершенно новыми глазами. Строить – это не значит класть камень к камню, это нечто гораздо большее. Вот костяк из железа; сказочно стройный и тонкий, вздымается он к небу, и кажется чудом, что нечто подобное может быть прочным, что это скелет человеческого жилища. Вновь и вновь останавливался он перед вырастающим домом, дивясь тому, как железо одевается в камень, как прочно связана эта масса, как много в ней смысла, как одно поддерживается другим, как все вместе растет вверх, в самое небо. И когда бы он ни проходил мимо строящегося здания, ему всегда вспоминались слова, вычитанные им в этой книге: новые, высокие дома в Советском Союзе стремятся не землю приблизить к небу, а небо свести на землю.

Он ясно видит перед собой эти печатные строчки. Он помнит, как, прочитав их, захлопнул книгу, изумленный, счастливый тем, что все это есть на свете: такая воля, такая правда и люди, живущие по этой правде.

Еще и сейчас он улыбается, вспоминая, как он был счастлив в те минуты. Его лицо, обычно не очень красивое, от этого воспоминания становится таким веселым, в нем столько добродушной силы, что прохожие, несмотря на спешку, несмотря на зонтики, оглядываются на мальчика, который шагает под дождем с непокрытой головой, чему-то смеясь и радуясь.

Последние следы плохого настроения, владевшего им дома, исчезают: сердце его полнится радостью, ведь он знает, какая борьба происходит в мире и где его место в ней. Он замедляет шаг, глубоко вдыхает влажный воздух, улыбается в пространство. Наконец останавливается.

Под мелким мартовским дождем стоит он на оживленной парижской улице, в центре движения. Перед ним – ярко освещенная витрина цветочного магазина, за стеклом пышно и горделиво красуются цветы, это прекрасное зрелище, и, вероятно, именно оно, именно созвучность радостной витрины его мыслям заставили его остановиться. Но он остановился машинально, он смотрит в окно и не видит раскинувшегося перед ним великолепия. Счастливое сознание, что он нашел правильный путь, – вот что его переполняет, вот о чем он думает.

Это не так уж легко далось ему. Правда, в то время только и говорили, что о новом мире на Востоке, но говорили чаще со злобой, чем дружелюбно. Даже Зепп, который сначала приветствовал рождение нового мира, вскоре разочарованно от него отвернулся и с тех пор скептически и неприязненно отзывался о нем.

Гансу невероятно повезло, что он встретился с дядюшкой Меркле. Сам он ни за что бы не справился. Он вспоминает, как впервые отправился на улицу Круа, где он теперь частый гость, как он пришел в мастерскую дядюшки Меркле сдать в переплет ноты отца. Старый переплетчик не стал пускаться с ним в разговоры. Да и потом он был скуп на слова. Много прошло времени, пока Ганс открыл, что эльзасец говорит по-немецки немногим хуже его самого. Хитрая голова был этот старый Меркле и очень себе на уме. Никогда он не подступал к нему с прямой пропагандой. Она только оттолкнула бы Ганса. Дядюшка Меркле заставил его самого сделать для себя выводы, он только указал ему правильный путь.

Волна восхищения, дружеских чувств, уважения поднимается в Гансе, когда он думает о старике. Дядюшка Меркле в свои шестьдесят пять лет гораздо моложе Зеппа, которому только сорок семь. И вдруг глаза юноши темнеют, лицо застывает. Ну и дурак же он, ну и олух. Полгода терзается вопросом, поговорить ли по душам с Зеппом. Надо было сразу же посоветоваться со стариком Меркле. Надо было давно довериться ему. Нелегко говорить с дядюшкой Меркле о своих личных делах. Но когда дело важное, а оно важное, старик всем сердцем рад помочь.

Ганс быстро поворачивается, отрывает взгляд от великолепной цветочной витрины, бежит на ближайшую станцию метро. Он сейчас же отправится к дядюшке Меркле, такое решение нельзя откладывать на завтра.

* * *

Вот и улица Круа, и старый дом под номером восемьдесят семь. Ганс пересекает двор, быстро взбегает по старым стертým ступеням высокой лестницы дворового флигеля; сердце у него стучит, ведь каждая встреча со стариком – для него новая радость, каждая сулит что-то неожиданное; очутившись наверху, он чувствует себя, как, бывало, в баварских горах, когда один только шаг отделяет тебя от вершины и вот сейчас перед тобой откроется широкий вид на мир.

Он стоит наверху, вдыхает знакомый запах мастерской. Ему немножко страшно: что скажет старик? Что бы тот ни посоветовал, он сделает.

Ганс позвонил. Переплетчик сам открыл ему. Он явно обрадовался, увидев Ганса. Из комнаты, позади мастерской, доносился чей-то голос. На мгновение Ганс почувствовал разочарование: дядюшка Меркле не один. Но оказалось, что это радиоприемник, дядюшка Меркле его не выключил. Аппарат гнусавил немецкие слова, раскатисто, по-военному. В отрывистых фразах, которые, казалось, рассекали воздух, грохотало: воля к вооружению, воинская повинность, преодоление эгоизма. Старик Меркле нет-нет, а доставлял себе злое удовольствие послушать, как германские властители стараются шелухой идеалистических благоглупостей прикрыть свою хищность и жестокость.

Он указал Гансу на стул. Сам он бодро двигался по большой комнате, низенький, худой, прямой; под его густыми белыми усами иногда вспыхивала улыбка, живые, умные глаза весело светились.

Ганс пришел не для того, чтобы слушать болтовню какого-то фашистского бонзы. Потребность поговорить со стариком росла в нем с каждой минутой. Проклятое радио. Этот нацист, кажется, до скончания века не перестанет трещать о моральном вооружении. Слова его льются, точно из утиного зада. Это у них от их фюрера.

Ганс пользуется минутами ожидания, чтобы еще раз набросать эскиз портрета дядюшки Меркле. Глядя, как тот ходит взад и вперед по комнате, и кладя штрих за штрихом не совсем послушной рукой, Ганс продолжает размышлять.

В *École des beaux Arts*⁹, когда он туда поступит, он будет не из самых молодых, и много еще воды утечет, прежде чем он сможет уехать в столь желанную Москву. Что ж, не беда. В его жизни, кажется ему, нет случайностей. Хорошо, что судьба вышвырнула его из уютного Мюнхена. Он постиг, что такое родина и чужбина, зависимость и свобода, неуверенность в завтрашнем дне и прочное положение. Кто живет в эмиграции, тот познает, что такое свой очаг; кто узнал бездомность, тот глубже чувствует, как надо строить дом, чтобы он был жилищем человека.

Не случайно и то, что он встретил дядюшку Меркле, – о лучшем руководителе и мечтать нельзя. В старике есть нечто твердое, надежное. Даже романтика становится у него трезвой и ясной, как стекло, так что всякие глупые мысли сразу рассеиваются. И он знает жизнь. Как эльзасец, он разбирается в германских и французских делах. В ранней юности он был социалистом, а потом долго не входил ни в одну партию и лишь исподволь пришел к коммунизму. У него нет ничего затверженного, нет голой теории. У него свои собственные мысли, он где нужно критикует и где нужно верует. Его слова крепки и прочны, как его переплеты.

Наконец старик выключил радио и в наступившей благодатной тишине спросил, указывая на рисунок:

– Ну как? Что-нибудь получается? Можно взглянуть?

Ганс покраснел, отодвинул рисунок, прикрыл его рукой.

– Потом, дядюшка Меркле, – сказал он и тотчас же решительно заявил: – Сегодня я пришел поговорить с вами.

Дядюшка Меркле окинул его светлым, коротким, острым взглядом.

– Выкладывай, мальчик, – сказал он и, поковыряв в трубке, сел против Ганса.

Ганс рассказывал об отце четко, иногда слишком обстоятельно, приводил некоторые его суждения, упоминал о своих возражениях. При этом он машинально играл рисунком и, хотя старался казаться спокойным, в конце концов смял его своей широкой, красной, короткопалой рукой. Последнюю неделю, рассказывал он, отношения особенно испортились. Зепп без конца говорит о деле Беньямина, и вздор, который он несет, ни с чем не сообразен.

– А стоит мне только пикнуть, – возмущенно заключил он, – ввязаться в спор, и уж он удержу не знает. Перед этой лавиной глупостей и предрассудков руки опускаются. Да и немисливо спорить, когда живешь вместе и целый день мозолишь друг другу глаза. Только вконец нервы истреплешь. Что мне делать? Посоветуйте, дядюшка Меркле.

Переплетчик ни одним словом не прервал рассказ юноши. Когда Ганс кончил, он ни о чем его не спросил и заговорил не сразу. Медленно, размышляя, ходил он взад и вперед по большой комнате. Иногда бережно брал в руки какой-нибудь предмет, рассматривал его своими светлыми небольшими глазами, внимательно и все же не видя ощупывал его и ставил на место. Он курил, сильно затягиваясь, запах табачного дыма заглушал запахи мастерской – кожи, клейстера. Ганс, хорошо изучивший дядюшку Меркле, терпеливо ждал.

И вот старик начал думать вслух. Его слова падали медленно, с перерывами.

– До войны, – сказал он, – все мы думали, что человек труслив. Это был один из многих наших предрассудков. Во время войны мы убедились в обратном. Победить естественную тру-

⁹ Академия искусств (*фр.*).

сость человека совсем не трудно. Надо только знать, как к нему подойти. Приказать построже да вдобавок поднести водки, и он покорно и просто пойдет на смерть. Чего он боится больше смерти – это правды. Тепленькая ложь ему приятна, в нее он кутается, за нее изо всех сил цепляется; с ложью ему труднее расстаться, чем со страхом смерти. Американцы пытались запретить алкоголь, но даже из этого ничего не вышло. Если же отнять у человека душевный хмель, отнять у него такие приятные представления, как свобода, геройство, провидение, гуманность, он встанет на дыбы. Тут он делается коварен, обороняется зубами и когтями. Поколение, прошедшее через империалистическую войну, не может представить себе жизнь без лжи. Что столько миллионов людей погибло по вине нескольких сот хищников, желавших иметь рынки и поправить свои дела, – этой правды они не могут выдержать: им надо одурманивать себя великими словами – «нация», «демократия», «свобода». У твоего отца веские основания не соглашаться с тобой. Кто долго опьянялся такими идеями, тому уж не протрезвиться.

– Вы, значит, думаете, дядюшка Меркле, что мне надо молчать и впредь? – деловито резюмировал Ганс.

Меркле остановился перед ним, усмехнулся из-под густых белых усов, лукаво взглянул на него.

– И да и нет, – ответил он. – Слово – серебро, а молчание – золото, это, конечно, верно. Но и на одном молчании далеко не уедешь. Если бы Мольтке только и делал, что молчал, не бывать бы мне немцем. Незачем, разумеется, – он улыбнулся шире, – непременно все выпаливать сразу. Когда у человека снимают бельмо, надо осторожно, исподволь приучать пациента к свету. Я соблюдал бы осторожность. Но совсем отступить, мой мальчик, совсем отступить от человека, потому что я не могу обратить его в свою веру, – этого я бы не сделал. В особенности когда имеешь дело со своим собственным отцом. Нет, нет, мы не так жестоки.

Ганс, глядя в одну точку, разглаживал смятый лист с рисунком и напряженно прислушивался. То, что сказал лукаво улыбающийся Меркле, было, конечно, только предисловием, и он ждал продолжения.

– Существует, – продолжал переплетчик, – множество людей, которые застряли между классами и не знают, где их место. Мы недооценивали их численность. Не надо полагаться на волю случая: пусть, мол, когда грянет решительный бой, они пристанут куда захотят – к нам или к противнику. Понимаешь, куда я клоню?

Ганс, хотя и понимал, что старик идет к определенной цели, но не видел этой цели и молча выжидал. Дядюшка Меркле, подняв палец, с хитрым видом поучал его.

– Если не в твоей власти, – сказал он медленно, негромко, подчеркивая каждое слово, – обратить в свою веру людей, которых я имею в виду, и в их числе некоего господина Траутвейна, известного многим под именем Зепп, их надо по крайней мере использовать. Это люди с предрассудками, они носятся с нелепыми идеями, им не дано думать последовательно и до конца. Но в их прямых интересах – что они и сами понимают – бороться против фашизма. Поэтому надо им объяснить, что для них выгодно идти не против нас, а с нами. Надо растолковать им, что в настоящее время единственная подлинная опора в борьбе против фашистов – это Советский Союз. – Он с минуту помолчал. – Смекнул? – спросил он.

По лицу Ганса он видел, что тот не смекнул. Дядюшка Меркле улыбался. Однажды поняв, Ганс усваивал основательно, но на то, чтобы понять, ему нужно было время, и переплетчик часто добродушно посмеивался над его мюнхенским «тугодумием».

– Я знал одного актера, – сказал он, – так тот, выступая в Берлине, в смешных местах делал паузу в три секунды, а в Мюнхене затягивал ее до полминуты, чтобы зритель успел сообщить, в чем соль. – Он сел против Ганса и стал растолковывать ему свой план.

Коммунисты, сказал он, решили отказаться от враждебных выступлений против левых партий и объединиться с ними для достижения общих целей. Во многих странах шла работа по созданию единого фронта. В Испании он уже достигнут, во Франции цель близка. Если гер-

манские антифашисты хотят вести реальную политику, им надо сплотиться в единую организацию. А германские эмигранты, вместо того чтобы сплотить свои силы, дерутся друг с другом.

– Смекнул? – во второй раз спросил дядюшка Меркле, обрисовав положение. Да, теперь Ганс понял, остальное он додумает сам. У Зеппа хорошая репутация в кругах германских антифашистов, его взгляды большинству кажутся умеренными и разумными. И втянуть его в такое движение было бы полезно.

– Вы, значит, думаете, дядюшка Меркле, – сказал он, – что мне следовало бы Зеппа... – Он не кончил фразы. А дядюшка Меркле, улыбаясь, откликнулся:

– Да, думаю.

Ганс напряженно размышлял. По выражению лица юноши видно было, как вспыхивали в нем мысли, как они постепенно оформлялись; его смуглая нежная кожа покраснела. Задача, которую поставил перед Гансом дядюшка Меркле, взволновала его. Значит, возражая Зеппу, когда уже невтерпех выслушивать вздор, который он несет, он, Ганс, тем самым действует в пользу правого дела.

Меркле с радостью отметил про себя, с каким пылом воспринял юноша его план. Но больше он к нему не возвращался, а взял в руки рисунок.

– Очень уж ты меня приукрасил, – сказал он, улыбаясь. – Нет-нет, старый Меркле много проще. – Он полагал, что, стараясь внушить юноше свою идею, действует в духе реалистической политики, умно, хитро, гибко. Он любил Ганса и рад был помочь ему. Само по себе совершенно безразлично, в какой мере политика, которой придерживается Зепп Траутвейн и его газетка, приближается к буржуазной; ведь это частный случай, и только. Но хорошо будет, если юноша вообразит, что выполняет важное задание; что бы из этого ни получилось, вреда это не принесет. Да, хитрый Меркле одним ударом убил нескольких зайцев.

Он отложил в сторону рисунок. Юноша был восторженным и надежным сторонником партии. Он заслуживает поощрения, пора обнадежить его.

– Если что выйдет, – сказал дядюшка Меркле слегка таинственно, с плутовским видом, точно сообщник, – если германский Народный фронт осуществится и если в этом будет и твоя лепта, то, пожалуй, ты недаром занимался русским языком.

Дело в том, что Ганс по настоянию переплетчика начал учиться русскому языку. Путь, который вел в партию и в Москву, был длинен и труден. Ганс думал, что, хотя дядюшка Меркле не занимает официального поста в партии, он все же пользуется влиянием и сможет ему помочь. Два-три раза он намекал ему на это, но переплетчик делал вид, что не понимает намеков. А теперь такой осторожный человек, как дядюшка Меркле, говорит, что Ганс сможет на практике применить свое знание русского языка, – это, несомненно, кое-что да значит, это серьезный шаг вперед.

Старик между тем опять переменял тему.

– Заметь себе правило, – сказал он, – кого не можешь обратить в свою веру, того по крайней мере используй. Это будет в его собственных интересах. Если больной ребенок не хочет принимать лекарство, доктор хитростью заставляет его принять.

Однако Гансу было не так-то просто уйти от того, на что намекал Меркле.

– Я не ослышался насчет русского языка? – спросил он. Старик только улыбнулся – лукаво, добродушно, ободряюще.

Ганс покраснел пуще прежнего. И хотя обычно он стыдился того, что краснеет, как девочка, да и товарищи над ним потешались, на этот раз он не досадовал на свою слабость. Напротив, его глаза засияли, он весь засветился. При всей своей сдержанности он не мог больше усидеть на стуле, он вскочил, глубоко вздохнул и наконец радостно выпалил:

– Вот это было бы здорово. Распластаться, да и только! – Он сказал это точно так же, как в таких случаях говорил Зепп. Даже языком прищелкнул, как Зепп.

Дядюшка Меркле, хотя хорошо знал немецкий язык, не совсем понял, почему Ганс должен расплатиться, и тот, слегка смущенный, объяснил ему, что мюнхенцы этим словом выражают высшую степень удовольствия.

11

Гансу Траутвейну минуло восемнадцать

Двадцать девятого марта швейцарское информационное агентство опубликовало результаты следствия по делу Беньямина. Второго апреля в швейцарском Национальном совете предполагалась интерpellация по этому поводу. Некоторые из друзей Траутвейна относились к ней весьма скептически; они слишком часто убеждались, что негодование, вызванное деяниями «третьей империи», повисало в воздухе и быстро потухало. Но Траутвейн этих скептиков и слышать не хотел. На сей раз так не будет, его не заразить маловерием. С лихорадочным напряжением ждал он, чем кончится запрос в Берне, что предпримет Швейцария.

Вечером второго апреля в Париже узнали, как проходила интерpellация. Правительство спокойно и деловито сообщило, что, по имеющимся у него сведениям, похитители действовали с ведома германских властей. «Поэтому, – заявил под аплодисменты всего собрания представитель правительства, – мы через нашего посла в Берлине передали Германии ноту, в которой сообщаем, что, по данным нашего следствия, германские власти заранее знали о похищении и были его соучастниками. Мы потребовали от германского правительства удовлетворения».

Траутвейн, узнав о ноте – в «Новости» о ней сообщили по телефону, – сиял, будто одержал большую личную победу. Неуклюже, с телефонограммой в руках, бежал он от одного сотрудника к другому, похлопывал каждого по плечу, шумел, ликовал, без конца повторял: «Наконец-то добились» – или: «Что вы на это скажете, коллега?». Весь пенясь радостью, он по-мюнхенски горласто ликовал, в душе у него точно колыхалось море знамен.

Не только Черниг, многие не верили, что маленькая Швейцария решится на серьезный спор с могущественным соседом. Нота, которую она вручила Германии, была не только победой разума над глупостью и жестокостью, права над насилием – она прежде всего была победой веры над неверием.

Зепп Траутвейн был по натуре скромным человеком, но он говорил себе, что и его усилия чуть-чуть содействовали успеху. Он, значит, был прав, что не поддался ни скептицизму Гарри Майзеля, ни нигилизму Чернига, что он в изгнании не потерял своей прежней твердой веры. Швейцарская нота показала, что он не напрасно принес свою большую жертву.

Рассеялись последние следы усталости, которая в эти недели тяжелой работы иногда охватывала его. Изгнание ничего не могло с ним сделать. «Слабый – умирает, сильный – сражается». Он чувствует себя свежим, полным надежд, как в первые студенческие годы. А ведь у него взрослый сын. Сколько ему лет, Гансу? Семнадцать? Нет, завтра ему стукнет восемнадцать.

Он смеется, он прищелкивает языком. Славная швейцарская нота вдобавок еще помогла ему вовремя спохватиться. Дни рождения и тому подобные даты он обычно забывает. Сегодня он вдвойне рад, что вспомнил о дне рождения Ганса. В прошлом и позапрошлом году этот день застал его с пустыми руками. На этот раз он наверстает упущенное в прошлые годы. Он сделает Гансу настоящий подарок. Это легкомыслие, но он сегодня так хорошо настроен, что иначе не может.

Траутвейн подсчитал, сколько у него денег. Чертовски мало. Он взял немножко денег у Гейльбруна, у других, даже у практиканта Гирша, который слыл богачом. Но денег все еще не хватало, и он решился обратиться за авансом к Гингольду. С кислым видом, бормоча что-то о принципах, которых, в сущности, не следовало бы нарушать, тот дал ему немного денег.

Траутвейн ухмылялся. Такой большой суммы он давно не держал в руках. Если бы Анна знала, что он затеял, она бы его по-свойски отчитала. И поделом. Все же он пошел и купил то, что задумал, – подарок Гансу. Парусной лодки, которую пришлось бросить в Мюнхене, он Гансу не возместит, да и с тем микроскопом, что остался в Мюнхене, этого, конечно, не

сравнить. Но в общем сойдет и этот, а мальчуган так тосковал по своему микроскопу, он будет страшно рад.

И настал вечер, и настало утро, утро дня рождения. Подали большую жирную запеканку с изюмом. Анна приготовила и несколько маленьких подарков. Тут на сцену выступил Траутвейн, довольный, широко улыбающийся, со своим великолепным подарком. Ганс и Анна оторопели.

Ганс взвешивает микроскоп на ладони, конфузясь, с двойственным чувством; лицо его густо краснеет. Ему стоит труда выказать радость, которой по праву ждет от него Зепп. Этот подарок больше смущает его, чем радует. Уж очень он некстати. Ведь Ганс решил при первом удобном случае последовать совету переплетчика и всеми правдами и неправдами внушить отцу идею Народного фронта. Великодушие отца сбивает его с толку и отнюдь не облегчает его задачи.

Стараясь овладеть собой и избавить себя от необходимости говорить, он отдает должное подарку. Он сейчас же садится за микроскоп и со всех сторон исследует его. Берет каплю воды, смотрит на целый мир живых существ, которые кишат в ней. Но в этом созерцании нет уже той таинственной прелести, какую оно представляло для него раньше. Микроскоп стал простой игрушкой, и лишь из уважения к Зеппу он так увлеченно смотрит в него.

Его мысли далеки от того, что показывает микроскоп. Он прекрасно знает, сколько должна стоять такая вещь. Непрактичный Зепп, без сомнения, просадил на эту игрушку четыреста-пятьсот франков. Сколько отцовского и материнского труда вложено в эту вещь. Сколько насущно необходимых вещей можно было бы купить на эти деньги. Ганс взволнован, почти пристыжен, но еще более раздосадован. Не мешало бы спросить у человека, что ему надо, прежде чем выбросить на ветер столько денег. Но таков Зепп с его глупым старомодным представлением о такте.

Впрочем, весьма возможно, что Зепп пошел на такой расход не только по случаю дня рождения. Все дело, весьма возможно, в швейцарской ноте. Конечно, Зепп, который на все смотрит сквозь розовые очки, видит в ней победу, важное политическое событие. Микроскоп, значит, своего рода взятка: Зепп хочет навязать ему свою собственную радость и свое собственное мнение. Ну конечно, для того чтобы разглядеть такую крохотную победу, требуется микроскоп.

Ганса заранее разбирает досада при мысли о высоком стиле разглагольствований отца, которые ему придется выслушать, но он, Ганс, молчать не будет. Не очень, правда, благородно то, что он задумал насчет Зеппа. Говоря прямо, просто-таки неблагородно, «hinterfotzig» – вот оно, хорошее баварское слово. Не убедить его хочет он, а «использовать». Честно ли «использовать» собственного отца? Это, конечно, делается в интересах самого Зеппа, и это политически правильно. Но честным это не назовешь и благородным тоже.

Да, нелегко это будет. Хорошо бы высказаться напрямик. Если же нельзя говорить всего, если надо половину проглотить, это уж противно.

Ганс пристально смотрит в микроскоп, он видит мир, кишущий в капле воды. Не обязательно тебя ставят туда, где тебе нравится, но все равно, стой честно на посту. Конечно, Зепп сегодня заговорит о деле Бенямина. У Ганса есть директивы. У него есть поручение. Он его выполнит.

* * *

Вечером они сидели в тесной комнате за праздничной трапезой. Стол был мал, сервировка скудна, но все, что подавалось, было вкусно. Анна потрудилась на славу. Разумеется, для нее было важнее отпраздновать успех Зеппа – швейцарскую ноту, чем день рождения Ганса, и поэтому были поданы главным образом любимые блюда Зеппа, а не Ганса. Прежде всего она

накупила колбасы разных сортов, которые любил Зепп, приготовила по его вкусу гарниры – картофельный салат, капусту в различных видах, пюре. К сожалению, Зепп не очень оценил ее внимание и усилия. Он лишь сказал мимоходом:

– Здесь это называется *choucroute alsacienne*¹⁰. Мюнхенская колбаса все же лучше. – Впрочем, он отдал должное и парижской колбасе.

Затем, как и ожидал Ганс, он стал радостно, торжественно и многословно распространяться о новом успехе в деле Бенямина.

Благоприятный момент наступил. Ганс вспомнил, что в младших классах, когда его вызывали к доске решать трудную задачу, он наскоро читал «Отче наш». Теперь он вместо молитвы внутренне сосредоточился на директивах дядюшки Меркле и приказал себе не гордиться и не говорить чего не следует. Он скромно начал:

– Может быть, мы несколько преждевременно обрадовались, Зепп? – Он взял на вилку немного капусты, картофеля и мяса, это помогло ему принять уверенную позу, и продолжал вдумчиво: – Хорошо, Швейцария решила протестовать. Швейцария уже не в первый раз протестует. Она протестовала по поводу миллиардов, одолженных Германии. Нацисты без войны миллиардов ей не отдадут. Войны Швейцария вести не может, вот она и удовольствовалась протестом. Ты думаешь, ради Фридриха Бенямина она пойдет дальше? А раз нацисты знают, что она дальше идти не может, чего ради они освободят Фридриха Бенямина? Из соображений морали?

Ганс замолчал. Он владел собой, он говорил спокойно. Сердце немножко билось, но он был доволен собой.

Когда сын заговорил, Зепп Траутвейн удивленно, резким движением повернул к нему костлявую голову. Ганс иногда спорил с ним на политические темы, но это были обычные дискуссии общего характера. Впервые Ганс ясно и недвусмысленно возражал ему в определенном вопросе, да еще в таком, как борьба за Бенямина, в которую Зепп вложил всю душу. Его глубоко поразило, что и мальчуган, подобно Чернигу, считал, по-видимому, дело Бенямина проигранным, а его, Траутвейна, усилия – бессмысленными.

На живом лице Зеппа отражалось каждое душевное движение. Без гнева, скорее смущенно и грустно смотрел он на сына. Доныне он не слишком над этим задумывался, но все же полагал, что Ганс разделяет его надежды, его веру в победу разума, и сдержанная веселость сына укрепляла его в этом мнении. Но вот его Ганс сидит и смотрит на него отнюдь не с выражением веры, а испытующе, с любопытством, как на человека, который держится диких, смешных взглядов, который, скажем прямо, бредит. Он давно уже обращался с Гансом как со взрослым; но сейчас он впервые почувствовал, что его мальчуган предъявляет права взрослого. «Этакий паршивец», – ругнулся он про себя. Но за этим ругательством скрывался страх.

Он приготовился возразить Гансу. Он решил не показывать своего недовольства. Но пока он подыскивал слова, грусть его все больше уступала место гневу. В семье Моцартов, думал он мрачно, говорили: «После господ бога – отец». Хорошо, я не Моцарт. Но ведь я лучше вижу, что происходит, чем этот мальчуган. В Швейцарии пять миллионов жителей, а в Германии – шестьдесят пять. Правильно. Но в том-то и суть. Возмущение всего мира придает такую смелость маленькой Швейцарии, что она восстает против действий могущественного соседа. Давид против Голиафа. Он, Зепп Траутвейн, гордится тем, что тут есть и его лепта, что он помог негодованию мира обрести голос, а вот Ганс в ответ на этот явный успех только пожимает плечами. Что это за молодежь? Зепп Траутвейн не мог более сдерживать себя. Он сказал громко, с горечью:

– Что это за молодежь, которая ставит на Голиафа, а не на Давида?

¹⁰ Кислая капуста по-эльзасски (*фр.*).

Ганс поднес ко рту вилку. Да, не глупо вести такие разговоры во время еды: как-то спокойнее держишься.

– Голиаф, – ответил он, – которого убил Давид, был плохо вооружен. Наши нынешние Голиафы, правда, тоже не блещут умом, но они садятся в танки, даже в том случае, если имеют дело всего лишь с каким-нибудь Давидом. На стороне Швейцарии – симпатии мира, на стороне Германии – несметное количество танков и самолетов. Все мы, – сказал он участливо, – были бы очень рады, если бы победили право и Швейцария. Но мы не закрываем глаза на танки и самолеты: они внушают нам опасения. Маленькое государство, вооруженное всего лишь кодексом международного права и выступающее против рейхсвера, – ну, скажи сам, Зепп... – Не закончив фразы, он поднял плечи и выразительно опустил их. – Мы стремимся к тому, – сказал он в заключение, – чтобы на стороне правого дела были не только симпатии порядочных людей, но и танки.

Траутвейну стоило труда не прервать Ганса. «Мы», сказал мальчуган, и под этим «мы» он явно подразумевал коммунистов, этих сторонников насилия. «Молокосос», – ругнулся он про себя опять, все более и более мрачней. Еще вчера Ганс казался ему ребенком. Если бы его спросили, чего больше всего жаждет Ганс, он ответил бы: микроскопа, который пропал в Мюнхене. И вот этот самый Ганс спокойно расселся здесь и напрямик объявляет вздором, трухой все, с чем связал свою жизнь его отец.

Зепп Траутвейн встает. Он хочет зажечь трубку, но тотчас же об этом забывает и закуривает новую сигарету. Пытается походить по комнате, но это только усиливает его тревогу. И он садится, на этот раз в расшатанное клеенчатое кресло. Он мало внимания уделял Гансу, и вот теперь до него рукой не достать, мальчуган ушел от него. Сумеет ли он догнать его, сумеет ли убедить, что он не «бредит»? Да, думает он с горечью, если бы можно было сесть за рояль и поиграть. Через искусство можно понять друг друга, даже при больших расхождениях. Но ведь Ганс слушает музыку как любой человек с улицы; глубже он в нее не вникает.

Зепп ничем не выдал всего, что в нем клокотало, – ни печали, ни гнева. Ему помогла сдержанность мальчугана. Не надо портить себе двойной радости этого вечера – дня рождения Ганса и опубликования швейцарской ноты. «Спокойствие», – сказал он себе, опять сел за стол и принялся за сладкое, которое тем временем принесла Анна. Он руками отламывал куски жирного лапшовника – есть его вилкой казалось ему невкусно.

– Без веры, – сказал он Гансу, – нельзя делать политику. Кто не верит в конечную победу, тот заранее обречен. Пока что, и именно в деле Беньямина, – козырнул он со сдержанной иронией, – правы, по-видимому, оказались люди веры. Если бы неделю назад спросить десять человек, будет ли протестовать Швейцария, девять из них сказали бы: «Ну, какое там. Швейцария поступит, как все другие, она примирится с наглой выходкой Германии. Она, как и все, подожмет хвост перед кулаком нацистов». А разве она поджала хвост?

Ганс слушал вежливо и внимательно. «Безнадежно», – думает он. «Ну и чушь», – думает он. «*Qu' est-ce que tu chantes là?*»¹¹ – думает он. Но одновременно он приказывает себе: «Не вскипать».

– Я не могу себе представить, – говорит он наконец, как всегда вдумчиво, – чтобы люди, у которых в руках власть, выпустили ее, поддавшись уговорам, а не потому, что их сломят насильем. Против насилия надо бороться не уговорами, а только насильем. Впрочем, я нахожу, – решил он на откровенное признание, – что насилие не такая уж плохая вещь. Плохим оно становится лишь в том случае, если им пользуются для дурных целей.

Траутвейн испугался, услышав из уст сына мысли Гарри Майзеля. Он вспомнил изречение своего коллеги, дирижера Ганса фон Бюлова, которое всегда вызывало в нем протест: «Ничего великого без диктатуры не достигнешь». Смутно мелькнула мысль, что, может быть,

¹¹ Что ты там поешь? (фр.)

его, Зеппа, мир окончательно отошел в прошлое, а в мире сегодняшнего дня он не в состоянии ориентироваться. В словах Ганса ему почудился и личный упрек: он, мол, довольствуется тем, что борется с гитлеровцами пустой болтовней. Он повторил себе, что было бы умнее говорить с Гансом так же спокойно, как говорит с ним мальчуган. Но намек на то, что его работа бессмысленна, слишком глубоко задел его. «Этакий паршивец», – опять пронеслось в его мозгу.

– По-твоему, выходит, – резко возразил он, – что раз мы, эмигранты, не располагаем властью, то нам остается лишь вообще отказаться от борьбы. Надо, значит, заняться своими личными делами и капитулировать перед нацистами? – Он воинственно посмотрел на сына.

Тот по-прежнему оставался спокоен.

– Нет, нет, Зепп, совсем не то. Я только не верю, что булавочными уколами, которые вы наносите фашистам, можно чего-нибудь достигнуть. Это лишь пустая трата сил. – Теперь глядеть в оба, не сказать ни слишком много, ни слишком мало. «Если нельзя обратить в свою веру, – повторяет он про себя наказ дядюшки Меркле, – использовать».

– Само собой, мне бы от всей души хотелось, – продолжал он, – чтобы эти господа в Берлине освободили Фридриха Бенямина. Но я не верю, что даже самыми умными и зажигательными речами можно добиться этого. Будет ли Швейцария настаивать на его выдаче – это, я думаю, в первую очередь зависит не от моральных соображений. Я не верю, чтобы в наше время можно было чего-нибудь добиться моралью, если за ней не стоят пушки. Нет, не верю, – заключил он. Он говорил теперь с мюнхенским акцентом: это подкупило Зеппа и вызвало у него ощущение близости с сыном, который только что казался ему чужим и непонятным.

– Ну и что же, по-твоему? – спросил он: ему не хотелось быть резким, но раздражение прорвалось помимо воли. – Может быть, мы объявим войну гитлеровской Германии? Ты, я и господин Гейльбрун?

Ганс рассмеялся.

– Знаешь ли, Зепп, – сказал он все еще спокойно, доверчиво, – мораль, музыка, твои статьи – все это прекрасно. Но это – приправы. Чрезвычайно полезные приправы. Если есть сила, готовая вступить за правое дело, и к ней прибавить то, что ты считаешь основным – мораль, искусство, твои статьи, – тогда сила станет действеннее, а мораль обретет смысл. Но я говорю: мораль без силы – это соус без жаркого.

– А жаркое – это, конечно, Советский Союз? – насмешливо взвизгнул Зепп.

– Да, – спокойно сказал Ганс, – это Советский Союз. Я думаю, что такое использование морали правильно, единственно практично. – «Использование», сказал он. Он был доволен, что так честно и прямо назвал все своим именем, он покраснел от радости, что ему удалось сочетать политику с порядочностью.

Его спокойствие не преминуло произвести впечатление на Зеппа, оно даже внушило ему уважение. Он понял, что Ганс – не «дрянной мальчишка», который просто из духа противоречия восстает против авторитета отца. Все, что он говорит, возникло у него не в пылу спора; это обдуманно, это постепенно созрело. И весь Ганс какой-то не по летам собранный.

Зепп опять пересаживается в клеенчатое кресло, курит, молчит, не знает, что ответить. Он рад, что наконец заговорила Анна.

В начале спора Анна не очень прислушивалась к словам мужа и сына. У нее был трудный день, и она устала. Она радовалась дню рождения Ганса, и добрая весть из Швейцарии казалась ей хорошим предзнаменованием. Но утром Зепп притащил дорогой микроскоп, и, хоть она от души рада за Ганса, со стороны Зеппа это неслыханная глупость. Микроскоп поглотит весь добавочный заработок Зеппа за то время, что он работает в штате «Новостей». По дороге к доктору Вольгемуту она без конца обдумывала, как ей быть в ближайшие недели. Дополнительный заработок Зеппа не спасет положения. Нет смысла закрывать глаза: материально они быстро катятся под гору; изо дня в день приходится снижать свой жизненный уровень. То скудное количество одежды, белья и домашней утвари, которое удалось захватить из Гер-

мании, изнашивается, а новое купить не на что. Вечно бьешься как рыба об лед. О верховой езде, которую она разрешала себе в Мюнхене, и о парусной лодке для Ганса и думать не приходится. Надо лишать себя таких вещей, без которых жизнь казалась невозможной. Она любит порядок, и ее мучает, что у нее нет времени заняться всякими мелочами так, как хотелось бы. Пишущая машинка все еще в неисправности: валик так износился, что с ним уже никак не сладишь. С мадам Шэ, прислужгой, тоже одни неприятности. У молодой, безалаберной женщины только парни на уме, во всех углах грязь, и она по обыкновению сливает свежее молоко с вчерашним. Анна смеется над этим упорством, но, в сущности, ей не до смеха. А с Элли Френкель, конечно, вышло так, как Анна предвидела. Вольгемут каждый день злится на Элли, Элли ударяется в истерику, и оба сваливают вину на нее, осыпают ее упреками. Анна терпеливо все это сносит, она не может забыть, с какой жадностью Элли набросилась на жалкую еду в том ужасном ресторане. Элли – по-прежнему ее крест, очень скоро она опять останется на бобах; в общем, собачья жизнь. Если бы по крайней мере на радио сказали окончательно «нет». Это было бы лучше, чем без конца тянуть за душу. С трудовой карточкой ничего не выходит, срок паспортов истекает, и, пока получишь какой-нибудь вид на жительство, хлопот не оберешься. Но еще гораздо хуже, в десять раз, во сто раз хуже, что сбылись все ее предсказания: у Зеппа из-за этой несчастной работы в редакции действительно не остается времени для музыки, за пианино он даже не садится, нот и в руки не берет. Навсегда, верно, миновали часы общей работы, которые так связывали их.

Но ее дурное настроение мало-помалу рассеялось. Выдался чудесный весенний день. Элли ничего не натворила, да и доктор Вольгемут проявил себя с самой лучшей стороны: так как ему против ожидания заплатили по крупному счету, он уговорил ее принять в качестве премии двести франков.

И еще одна радость, поистине радость, – швейцарская нота. Нота показала, что Зепп вовсе не так уж лишен чувства действительности, как опасалась Анна. А как хорошо быть неправой, если оказался прав человек, которого любишь. Покупая еду для праздничного ужина, она была так весела, как уже давно не бывала. К ужину она приоделась. Зеркало плохо освещено, но все же видно, что она отнюдь еще не отцвела, не даром мужчины на нее заглядываются, и нет ничего удивительного, что мсье Перейро с ней флиртует. Анна почувствовала былую уверенность в себе, ей показалось, что все еще наладится. Усталая и счастливая, села она с мужем и сыном за ужин.

Когда между Зеппом и юношей разгорелся спор, она сначала, отдаваясь чувству приятной усталости, не очень к нему прислушивалась. А вникнув в него, склонна была скорее взять сторону Ганса, чем вечного оптимиста Зеппа. К сожалению, правы бывают всегда те, кто опасаются плохого. Ее Зепп полагал, что в таком государстве, как Германия, варвары не могут захватить власть, – и все же они ее захватили. При каждом новом, все более чудовищном насилии он говорил: это последнее, на этот раз оно им не сойдет с рук. И каждый раз им все сходило с рук. Почему же им не сойдет с рук и дело Бенямина? Отрадно, разумеется, что ее Зепп не складывает оружия, и она его любит за это. Но было бы разумнее, если бы он вернулся к своей музыке. Анна тоже уверена, что господство нацистов не будет длиться тысячу лет, но оно может длиться долго, и правильнее было бы привыкнуть к мысли, что на промежуточной станции «Париж» придется немало ждать, прежде чем можно будет поехать дальше. Вот они сидят, Зепп и мальчик, и спорят о высокой политике. Чем они лучше тех двух столяров у доктора Вольгемута, которые повздорили из-за Троцкого, вместо того чтобы починить дверь? Ах, раз уж они заняты общественными делами, почему бы им сначала не позаботиться о малом, а потом уже о большом? Почему бы им, прежде чем созывать конгрессы и обсуждать политические резолюции, не организовать сначала какое-нибудь бюро, в котором человек мог бы получить совет или хотя бы точные сведения насчет паспортных дел? Ведь бедный Бенямин попал в руки нацистов только потому, что не мог получить настоящий паспорт. А теперь приходится

бить тревогу и раскачивать общественное мнение во всем мире. Два месяца назад достаточно было бы одного разумного рекомендательного письма в префектуру, и жизнь человека была бы спасена. Если уж так трудно получить простое удостоверение личности, да еще при благожелательном к тебе отношении, то какой же смысл в том, что ее Зепп и несколько бессильных эмигрантов идут против громадного государственного аппарата? Когда за душой нет ничего, кроме права и морали, дело твое плохо и нечего тебе пускаться в политику.

По внутреннему убеждению Анна была на стороне Ганса. Но она любила Зеппа, она видела, как терзает его неверие Ганса, ей не нравилось, что Ганс позволяет себе «воевать» с ним. Она вспомнила свою давешнюю радость оттого, что Зепп, вопреки ее предсказаниям, оказался прав. Она обрадовалась, когда он выдвинул довод, который и ей показался убедительным. Еще несколько дней назад, сказал он, никто не предполагал, что Швейцария откликнется, но она все же откликнулась, и это подняло настроение, дало определенный перевес их делу, вселило надежду, что оно наперекор всему кончится благополучно.

– Ты совершенно прав, Зепп, – поспешила она поддержать мужа: в ее звучном голосе была непривычная живость, широкое лицо светилось любовью, верой в Зеппа. – Никто бы не подумал, что Швейцария пошлет такую ноту. И раз вы этого добились, добьетесь и остального. Если существует какая-нибудь логика вещей, вы победите.

Зепп был глубоко тронут. Анна, которая так страдала оттого, что он забросил свою музыку ради политики, все-таки поддержала его.

– Твоими бы устами да мед пить, – сказал Зепп, как бы ставя точку. Он был рад, что вмешательство Анны избавило его от необходимости ответить Гансу на его прославление насилия.

И Ганс был, в сущности, доволен тем, что мать вмешалась в разговор. Он занял позицию, заложил мины, пробил первую брешь. Что Зепп не сдастся сразу, было ясно с самого начала. На сегодня сделано достаточно. Он терпелив и доведет дело до конца.

Надо сказать отцу что-нибудь приятное. Ему было нелегко купить этот микроскоп. Ганс встал, подошел к Зеппу, который все еще сидел в расшатанном кресле, и несколько неловко положил ему руку на плечо.

– Не обижайся, Зепп, – сказал он, покраснев до корней волос. Но больше он так ничего и не придумал; оба они, и сын, и отец, боялись сентиментальности. – В политике ведь у каждого свои взгляды. Ведь это и есть демократия, с которой вы так носитесь, – прибавил он со слабой попыткой пошутить. Но прежде чем Зепп успел ответить, он деловито обратился к Анне: – Так-то, мама, а теперь я приведу в порядок раковину и мы помоем посуду.

Оба ушли в ванную, которая служила и кухней. Мытье посуды – не особенно веселое занятие, но Анна рада ему: можно поговорить по душам о том, чего обычно не скажешь. Говоришь, почти не глядя друг на друга, наполовину про себя и все же для другого, и незатейливая работа, требующая, однако, внимания, не позволяет впасть в сентиментальность.

– Послушай-ка, Ганс, – начинает она, – ты не находишь, что был несколько груб с отцом, чересчур прямолинеен? Ему ведь нелегко, не надо еще усложнять ему жизнь. – Ганс отвечает ей ласково и уклончиво. Анна вытирает тарелки и не настаивает. – С микроскопом, – говорит она, – Зепп тоже, по-видимому, явился невпопад. – Она улыбается. – Не везет ему сегодня с тобой.

– Да, – признается Ганс, – к микроскопу у меня теперь и в самом деле пропал интерес. – Если бы Зепп и мать не были так невыносимо добры, все было бы гораздо легче. – Я верну его в магазин, – заявляет он. – Загнать его, во всяком случае, можно; ты знаешь, у меня на это легкая рука. Часть денег я истрату на книги, а остальные отдам тебе.

– Ерунда, Ганс, – возражает Анна. – С тех пор как Зепп работает в «Новостях», мне легче дышать.

– Скорее бы кончились экзамены, – говорит он. – Тогда я смогу давать уроки. Хотелось бы и мне когда-нибудь принести домой свои несколько су.

– Не болтай глупостей, мальчик, – отвечает она, – тебе надо учиться. – Она называет его «мальчиком», а Зепп – «мальчуганом». В детстве для Ганса было загадкой, почему отец называет его по-одному, а мать по-другому. Теперь он знает, что «мальчик» и «мальчуган» – это что в лоб, что по лбу; но ни мать, ни отец не имеют ни малейшего представления о настоящем Гансе.

* * *

Зепп между тем после некоторого раздумья сел за пианино. Он стал импровизировать кантату на день рождения. Он чувствовал себя в ударе, его музыка была веселой, остроумной, пародийной, он говорил в ней о своем умном Гансе, поддразнивал его и сожалел, что Ганс ее не поймет и не сумеет оценить.

«Промахнулись вы, милостивые государи», – думал он, играя. Было не совсем ясно, кого он подразумевает: Ганса, который хотел подточить его веру, или нацистов, или судьбу, которая сделала злую попытку испортить ему радость, вызванную швейцарской нотой и днем рождения его мальчугана. Но он ничего не позволит испортить себе. Дело Бенямина на мази. Он забросил ради этого дела свою музыку, он мирится с тем, что Ганс обзывает его дураком, дело Бенямина стоит ему дьявольски дорого. Станным образом складывается его биография. Сначала музыка толкнула его в объятия политики, потом политика помешала ему заниматься музыкой, а теперь еще отнимает у него доверие сына. И не смей возмущаться. Черти проклятые. Merde¹². Вполголоса бросает он попеременно мюнхенские и французские ругательства.

Но если уж ругаться, так ругаться. Этот Бенямин, этот Фрицхен, этот собачий сын, он во всем виноват. Но дело не в Бенямине, дело в принципе. А принцип великолепный, и Зепп в него верит и эту веру никому не позволит у себя отнять. Несмотря ни на что. «Quand même, – думает он, – quand même»; он думает по-французски, по-французски это хорошо звучит, он слышит резкое, гремящее «э» в слове «même».

Но вот музыка меняется. Он играет тему, которая пришла ему в голову, когда Черниг читал свои стихи в кафе «Добрая надежда». Он играет эти несколько тактов, он варьирует их. Его лицо изменилось, оно стало мрачным и в то же время торжествующим, ожесточенным, гневным, уверенным. Да, это настоящая музыка, то победное ликование, которое торжествует над гибелью, – «смерть для жизни новой». Это то, что в Москве теперь называют «оптимистической трагедией», это сущность эмиграции. Дерзкая, упрямая, острая, победная музыка, рожденная тем чувством, которое на эшафоте исторгает у людей возглас: «Да здравствует революция!» Им приходится расплачиваться за этот возглас. Это дорогостоящее удовольствие – позволить себе жить так, чтобы кончить жизнь этим возгласом. Вообще дорогостоящее удовольствие – быть порядочным человеком, самое дорогое, какое только существует. Quand même.

А жена и сын уже помыли посуду и возвращаются в комнату. Зепп Траутвейн смотрит на стенные часы, которые удалось увезти из Мюнхена, его любимые часы. К сожалению, уже поздно. Надо идти. С легким вздохом он встает, торопливо проходит через комнату, берет пальто и шляпу.

– Жаль, что мне уже надо в редакцию, – говорит он.

Анна внимательно слушала Зеппа. Быть может, некоторые детали и ускользнули от нее, но в общем она поняла, что он хотел сказать, и его музыка радостно взволновала ее. Она легко коснулась его руки.

¹² Черт побери (фр.).

– Да, – сказала она, – жаль, что тебе надо идти. – Нежность и гнев смешались в ней в одно чувство. Этот Зепп, этот непостижимый человек. Он любит свою музыку, он может так много дать, а он бежит в свою дурацкую редакцию и потеет там над работой, в которой мало смыслит.

Зепп еще весь под впечатлением разговора с сыном. Уже в пальто, он подходит к Гансу своим быстрым, неловким шагом.

– Что ж, Ганзель? – говорит он и кладет руку ему на плечо. С широкой, смущенной, почти виноватой улыбкой добавляет: – Все мы блуждаем, и каждый блуждает по-своему. Это замечательные слова. К сожалению, не мои, а Бетховена. Но верны они не только для музыкантов. И все-таки это был хороший день рождения, – говорит он упрямо. – Правда, Ганзель? – И он уходит.

12

Человек, который в изгнании вдыхает запах родины

Хотя Анна теперь гораздо лучше понимает его, понимает именно так, как ему этого всегда хотелось, все же праздник, который он решил задать себе в честь швейцарской ноты, не вытанцовывался. Он, сангвиник, нуждался в большей доле участия и одобрения. Он послал по пневматической почте письмо в эмигрантский барак и пригласил Чернига и Гарри Майзеля на обед в ресторан Дюпона, находившийся неподалеку от барака.

И вот они сидят втроем. Неуклюжий и многоречивый Зепп Траутвейн, замызганный и засаленный Оскар Черниг и Гарри Майзель – с видом принца, свежий, словно только что вылупившийся из яйца. Гарри составил меню – он один кое-что в этом смыслил, – и официанты засуетились; Черниг безразлично и жадно уминал все, что подавали, и Траутвейн не отставал от него. Так сидели они, ели, пили и болтали о всякой всячине.

Траутвейн нетерпеливо ждал, когда наконец его друзья заговорят о том, чем он был полон, – о швейцарской ноте. Но те ни гугу. Наконец он не выдержал и сам выпалил с присущей ему неловкостью и бурной стремительностью:

– Ну, что вы скажете теперь? Не говорил я разве, что мы их взорвем?

Черниг и Гарри перестали есть, взглянули на него.

– О чем вы, собственно, профессор? – спросил Черниг.

Оказалось, что ни тот ни другой не читали швейцарской ноты и не слышали о ней.

Одно мгновение Траутвейн сидел ошеломленный. Известие о событии, которое, по его мнению, должно было всколыхнуть мир, не проникло в барак; даже те, кого оно касалось больше, чем других, эмигранты, ничего не знали. Но вскоре он пришел в себя. Тем лучше: он мог первый рассказать о своем большом успехе друзьям, которые еще ничего о нем не слышали.

Он рассказывал горячо, наивно, с гордостью, и, пока он говорил, в нем росла уверенность, что дело Беньямина кончится благополучно. Есть, толковал он друзьям, лишь две возможности: либо нацисты без дальнейших разговоров освободят похищенного, либо они подчинятся решению третейского суда, которое, без всякого сомнения, будет для них неблагоприятным.

Траутвейн говорил с воодушевлением и требовал воодушевления. Гарри ел медленно, благовоспитанно, слушал внимательно и вежливо. Черниг глотал, уминал, жевал, чавкал; но и он прислушивался и иногда обращал к Траутвейну свое рыхлое, бледное, плохо выбритое лицо, не переставая жадно есть. Выпученные глаза смотрели мягко и иронически из-под громадного лба, на лысине поблескивали капельки пота. Ни он, ни Гарри не прерывали Траутвейна.

Когда наконец он закончил многословное повествование о своей радости и своих надеждах, оказалось, что отклик друзей был иным, не тем, какой он встретил у жены, любящей его. Черниг медленно закурил сигару. Он отодвинул стул, закинул ногу на ногу, он сидел в удобной и надменной позе, и, так как Зепп явно ждал оценки, он предпочел, чтобы ее дал их молодой друг.

– Ну, Гарри, какого вы мнения?

Гарри вежливо улыбнулся.

– Когда мы были детьми, – сказал он, – мы играли в такую игру: садились за большой стол и заваливали его бумагами, карандашами, чернильницами. Картонные коробки изображали у нас телефоны, мы звонили в эти воображаемые телефоны, писали, телеграфировали, носились взад и вперед в роли курьеров и все это делали с чрезвычайно серьезным видом. Мы играли в «контору». Так некоторые эмигранты играют в политику. Это, видно, их тешит, помогает заполнить пустоту их жизни. – Он пожал плечами.

Черниг несколько раз одобрительно кивнул большой головой. И наконец заговорил своим кротким, высоким голосом, дополняя речь друга. Он говорил негромко, так что Траутвейн с трудом мог расслышать его слова, терявшиеся в шуме ресторанного зала:

– Что касается меня, профессор, то мне жаль, что вы тратите силы на эту игру. Вам надо наконец вернуться к тому, что вы умеете делать, к вашей музыке. Предоставьте политику людям, которые созданы для нее и ни на что другое не способны. Возьмитесь опять за ваших «Персов», профессор. Вы весьма достохвально и щедро угостили нас горячей едой и сигарами из добавочного заработка, который дала вам борьба за Фридриха Бенямина. Это – положительный результат вашей борьбы. Удовольствуйтесь им. Оставьте дальнейшие усилия.

Разочарование душило Зеппа. Слушая Чернига, он понял, что и Анну ему не удалось убедить. Оскар Черниг заметил его подавленность и почувствовал жалость. Он нагнулся к нему. Вместе с запахом сигары резко донесся запах его немытого тела и заношенного платья.

– Послушайте, профессор, – сказал он мягко. – Когда вы вопреки моему совету ввязались в эту нелепую борьбу, вы, бесспорно, сделали это из нравственных побуждений, из гнева и сострадания, как честный дурак. Но вы могли убедиться, что вся затеянная вами кампания ни к чему не привела, почему же вы все-таки продолжаете? Потому что вы упрямец, вы баварский задира, вы драчун, это азарт, настоящий азарт. Для вас это спорт, вот в чем дело. – И оттого что Траутвейн вместо ответа только посмотрел на него своими глубоко сидящими глазами, неловко и вызывающе улыбаясь, Черниг против обыкновения настойчиво добавил: – Вы сами сказали, что ничего лучшего и желать не могли, как швейцарской ноты, и что все остальное последует само собой. Зачем же вам опять вмешиваться? Уйдите с арены. Там вам нечего больше делать. Оставьте быка и профессионалов-тореадоров один на один. Вернитесь к «Персам».

Гарри поглаживал свои густые волосы. Широко расставленные быстрые глаза неприлично застыли на бледном юношеском лице. Он сказал мечтательно, как бы про себя:

– Было бы чудовищно, если бы борьба велась из-за призрака. Быть может, все уже решено. Такая возможность вполне допустима. Или, по-вашему, исключается, что нацисты уже поставили весь мир перед... ну, как это говорят? Перед *fait accompli*?¹³

Гарри говорил вежливо, безучастно, не повышая голоса. Траутвейн взглянул на него: переполненный людьми ресторан куда-то провалился, он не слышал шума, не чувствовал запахов всех этих блюд, не видел людей, он видел лишь красивые молодые губы, которые открывались и закрывались, он слышал лишь вежливые, печальные, до жути ясные слова. *Fait accompli*. Да, такая возможность «вполне допустима», она вовсе не «исключается». У него самого мелькала эта мысль, но она была настолько страшна, что он тотчас же ее отгонял. *Fait accompli*. Красиво выражается этот юноша – иносказательно, но это действует сильнее, чем если бы он говорил напрямик. Ничего не поделаешь, он прирожденный писатель. Впрочем, старая истина, что косвенное действует сильнее прямого. *Fait accompli*. Да, да, да. Быть может, Германия давно и окончательно все решила, решила при помощи самого действенного, что существует в этом мире, – при помощи смерти. Быть может, маленький Фридрих Бенямин давно мертв, зарыт где-нибудь в лесу и когда-нибудь, через две недели или через два месяца, а может быть, и через два года, вдруг станет известно, что он «застрелен при попытке к бегству», или после допроса в гестапо «умер от разрыва сердца», или же покончил с собой, «сам себя осудил», несмотря на все меры предосторожности. Существуют длинные списки таких мертвецов, тщательно составляемые, Зепп Траутвейн видел их не раз. Многие имена его добрых друзей были в этих списках: депутат Гарун, писатель Эрих Мюзам, философ Теодор Лессинг. Это был бесконечный список, не говоря уже о мертвецах тридцатого июня, и он, Зепп, вполне мог себе представить, что в этом длинном списке фигурирует новое имя, несколько букв среди десятков тысяч других букв, – *фридрихбенямин*.

¹³ Свершившийся факт (*фр.*).

Ужас овладел им. Услышав точные слова, выразившие давно мучившую его безотчетную тревогу, он задохнулся, съеденная пища подступила к горлу. Он побледнел, но напряг все силы, стараясь не показать своего отчаянного волнения. Нет, нет, об этом он не хочет и думать, нельзя давать волю этой мысли, нельзя, чтобы она существовала. *Fait accompli* – не может быть, он не хочет допустить этой возможности.

Он судорожно выпрямился и стал резко возражать. Приводил довод за доводом. Нет, хоть нацисты и глупы, но уж не до такой степени. Если они умертвили Бенямина, это рано или поздно всплывет, и буря, которая тогда разразится, будет совершенно непропорциональна его значению. Траутвейн выходил из себя, горячился, взвизгивал и жестикулировал, так что люди, сидевшие за соседними столиками, удивленно смотрели на него. Ему удалось убедить самого себя, что Гарри просто пришла в голову нелепая фантазия.

Но он знал, что все напрасно. Раз эта мысль облеклась в слова, она его не оставит. Предположение Гарри засело крепко, кошмар будет вновь и вновь возвращаться.

Ни Черниг, ни Гарри не оспаривали его доводов. Когда он кончил, они заговорили о другом. Траутвейн был рад, что не нужно возвращаться к мучительной для него теме. Но как только он остался один, перед ним снова встало видение, возникшее под влиянием того, что сказал Гарри, и мысль, что человека, за которого он борется, нет в живых, стала преследовать его неотступно.

* * *

Вообще вся первая половина апреля была жестоким испытанием для терпеливого оптимизма Траутвейна.

Берлин отнюдь не торопился отвечать на швейцарскую ноту. Нота была вручена второго апреля. Ожидали, что ответ поступит не позднее седьмого или восьмого. Но прошла неделя, прошло еще несколько дней, ответа не было. Похоже было, что Ганс, Черниг, Майзель и все остальные скептики правы, и Траутвейну уже не удавалось отделаться от образа, навязчиво возникавшего после встречи с Гарри. Все чаще чудился ему призрак Фридриха Бенямина, сидящего за письменным столом в редакции, все чаще терзала его мысль: не за мертвеца ли мы боремся?

Наконец, пятнадцатого апреля, была получена ответная нота Берлина. Ответ недвусмысленный: имперское правительство не освободит Фридриха Бенямина. Ответ в высшей степени наглый: имперское правительство даже не потрудились опровергнуть улики, предъявленные ему Швейцарией. С бесстыдным хладнокровием оно заявляло, что проведенное им самим следствие не дает оснований заключить, будто официальные инстанции участвовали в похищении Бенямина.

Траутвейн, жадно перечитывая текст немецкой ноты, сказал себе, что никто, конечно, и не ожидал от имперского правительства, что оно согласится удовлетворить требование Швейцарии и признает свою неправоту. Он сказал себе, что Швейцария, конечно, предвидела отрицательный ответ Германии и, значит, обратится в арбитраж, решение которого в таком спорном случае, согласно договору, является обязательным для обеих сторон. Успокаивая себя, он заключил в то же время из глупого и наглого цинизма немецкой ноты, что гитлеровцам наплевать на правовые претензии маленькой Швейцарии и что они никоим образом своей жертвы не отдадут. И он почувствовал в глубине души тяжкую усталость, неверие других заразило его. «Я нисколько не обескуражен», – твердил он себе, но в широко открытых глазах Фридриха Бенямина, глядевших на него с грустной клоунской маски, застыла скорбь.

Он стряхнул с себя дурные мысли, позвал Эрну Редлих и сейчас же начал диктовать статью по поводу ответной ноты германского правительства. Эрн сидела за пишущей машинкой; в большой комнате, как всегда, стоял шум, Траутвейн диктовал, шагая взад и вперед. Бер-

линская нота, несмотря на свою видимую хлесткость и наглость, была рыхлой, вялой. «Третья империя», конечно, не надеялась, что хотя бы один разумный человек поверит нелепым доводам ноты. Нетрудно было опровергнуть их, осмеять, показать, как безнадежно берлинцы проиграли дело, если в свое оправдание приводят лишь такие смехотворные и наглые утверждения. «Голиаф глумится над Давидом» – так озаглавил Траутвейн свою статью, и тема ее, казалось бы, должна зажечь его. Нота глумилась над всем, что стояло в оппозиции к фашизму, и в особенности над германской эмиграцией. «Новости» были голосом эмиграции, а он, Зепп, – в этом случае голосом «Новостей». От него зависело дать отпор бесстыдству нацистов.

И все же статья не давалась ему. Он старался взять себя в руки. Обычно он без труда находил меткое слово. Сегодня ничего не получалось, ничего не удавалось. Его сковала усталость, чувство глубокой безнадежности мешало ему ответить с необходимой силой. Диктуя, он чувствовал, что слова его слабы и расплывчаты.

– Как вы находите то, что я продиктовал? – неуверенно спросил он Эрну Редлих. Секретарша обратила к нему свое открытое, детское лицо.

– Эти слова вы как будто подслушали в моей душе, – сказала она. И добавила, чуть-чуть помедлив: – Но вам случалось писать и лучше, господин Траутвейн.

– Вы правы, – сказал он.

Глубоко неудовлетворенный, держал он в руке рукопись, как бы взвешивая ее. Статья должна пойти в печать, должна немедленно пойти в печать. Если он хочет внести изменения, ему придется продиктовать их сразу же на линотип. Это была рискованная штука, требовавшая долгой тренировки; у него тренировки не было. Напротив, он работал медленно, тщательно. Но ничего другого не оставалось, надо было спасти, что еще можно было спасти.

Он пошел в типографию. На больших, обитых жестью столах лежал готовый набор, длинные столбцы с отлитыми свинцовыми строчками, рядом – ящики с заголовками различной величины. Он видел и слышал огромную ротационную машину, он ощущал суровый запах помещения, весь этот чуждый мир, отталкивающе трезвый и все же полный возвышенной романтики. С щемящим чувством подумал он, что продиктованное им неотвратимо разойдется по всему свету и что завтра тысячи и тысячи людей будут читать его статью. Он должен, он обязан найти сильные, разящие слова, дать отпор высокомерию нацистов.

Резким движением он стряхнул с себя подавленность, призвал на помощь всю свою логику, все свое баварское остроумие. Он стоял возле наборщика, пожилого, спокойного человека, и, низко наклонившись к нему, диктовал; а тот сидел, напряженно выпрямившись, высоко поднимая руки, глядя на клавиатуру линотипа, и, склонив голову чуть набок, старательно вслушивался в звуки пронзительного голоса, который резко, уверенно перекрывал стоявший здесь шум.

Наконец-то Траутвейн добился своего, пришла та собранность, которая ему была нужна. Видение, образ мертвеца не исчезало. Да, может быть, он борется за труп; но теперь эта мысль не мешает ему, наоборот, она подстегивает, делает его слова острыми, действенными. Он диктовал холодно, логично и все же яростно. Лишь изредка поправлял себя. Машина стучала, звенела, в воздухе стоял шум, неприятный суровый запах. Траутвейн ничего не слышал, ничего не видел, он говорил, и его слова отливались в металл.

Он кончил. Пока наборщик наскоро делал оттиск для корректуры, Зепп сидел на табурете, изнуренный, тяжело дыша. Ему принесли оттиск, он пробежал его. Ничего не поделаешь: надо еще раз собрать силы и сокращать, исправлять. Наборщик, стоявший рядом, вынул из набора зачеркнутые строки; гремя, упали они на кучу свинца, чтобы снова стать свинцом.

Он прочитал корректуру. Большого, лучшего он дать не может. Слегка пошатываясь, вернулся в редакцию и устало доделал оставшуюся работу. Ее оказалось немало. Когда Зепп вышел из редакции, был уже поздний вечер.

В лифте он встретил Эрну Редлих, секретаршу.

– Я думала, – сказала она, – что вы, может быть, захотите заново продиктовать статью, и до сих пор ждала вас. – Она знала его манеру работать, знала, что он нелегко удовлетворяется достигнутым, а работал он охотнее всего с ней.

– Представьте себе, – сказал он, – я продиктовал статью прямо на линотип.

– Хорошо получилось? – живо спросила Эрна.

– Да, – сказал он с гордостью и тут же поправился: – Мне кажется, да.

– Я рада, – искренне сказала она.

Они вышли из лифта, пересекли широкий, голый, холодный подъезд и, идя к воротам, прошли мимо «немного привратника» – громадной доски со списком учреждений. Траутвейн сбоку смотрел на Эрну Редлих, на ее изящную, хрупкую фигурку, на детское лицо с прекрасными, чуть-чуть сентиментальными глазами. «Зайчонок, – подумал он, – зайчонок».

Уже очень поздно. Анна, должно быть, дожидается его. Когда он задерживается в редакции, она часто ждет его, а сегодня, прочитав ответную ноту Германии, конечно, не ляжет до его прихода. Может быть, и Ганс ждет, хочет обсудить с ним события. Ему немножко не по себе при мысли о встрече с Анной и мальчуганом. Они, бесспорно, толкуют наглость германской ноты как доказательство того, что нацисты не уступят. Хотя ему удалось, пока он диктовал на линотип, заставить себя воспринимать *fait accompli* как лишний стимул, теперь этот «свершившийся факт» гложет его, он боится взглянуть в сочувственные лица жены и сына. Ни Анна, ни Ганс, само собой, не будут торжествовать, получив новое доказательство своей правоты, они знают, как он огорчен. Они ведь не только члены его семьи, но и хорошие товарищи, и им, конечно, искренне больно, но именно это бережное сочувствие кажется ему невыносимым. После такого трудного дня и всех перенесенных тревожений его не тянет домой.

Эрна и он стоят на улице у ворот.

– Мне надо бежать, – говорит маленькая Редлих, – в это время двадцатый автобус ходит только каждые четверть часа.

– Послушайте, – говорит Зепп Траутвейн, – я чертовски голоден; после такой усиленной работы у меня всегда волчий аппетит. Знаете что? Пойдемте подкрепимся, а? – Эрна Редлих колеблется, но нетрудно заметить, что она рада приглашению Траутвейна. Он это видит и становится настойчивее. – Не церемоньтесь, – просит он, – будьте хорошим товарищем, пойдемте.

Они заходят в маленький ресторан. Траутвейн заказывает кислую капусту и пиво, он действительно голоден как волк, но оказывается, что у Эрны Редлих тоже недурной аппетит. Они едят и болтают. Они довольно давно работают вместе, хорошо знают друг друга, но только с одной стороны – по работе; эту единственную сторону жизни и характера друг друга они знают хорошо, все же остальное им незнакомо. И вдруг неожиданно их охватывает чувство большого взаимного доверия. Окружающая обстановка неприглядна: грязный, заспанный официант, тусклые зеркала, два-три шумных игрока у бильярда и потрескавшийся мраморный столик, слишком тесный для поставленной на нем еды. Но оба чувствуют себя уютно, как дома.

– Приятно потолковать не спеша с разумным человеком, – говорит Траутвейн.

Эрна Редлих, раздумываясь от радости, торопливо ест, она старается не показать, как глубоко волнует ее интимный тон Зеппа. Жуя, рассказывает она о своей жизни. По сравнению с другими ей живется неплохо, очень неплохо. Но три года назад ей и во сне не могло присниться, что она когда-нибудь будет так плохо жить. Жалованье, Траутвейн сам знает... ну, как-нибудь можно, конечно, свести концы с концами, но надо чертовски экономить, сбивать каблуки становятся трагедией. К тому же приходится посылать деньги матери. Да, мать осталась в Германии. Редлих-отец был крупный акционер заводов АФА¹⁴, тогда они жили богато и в почете. Но с тех пор как папу убили на фронте, все пошло прахом. При разделе наследства родственники отхватили себе порядочный куш. Потом брату ее, Паулю, удалось хорошо устроиться.

¹⁴ Сокращенное название акционерного общества химических заводов.

Он преуспевал, ему еще не было тридцати, когда он стал юрисконсультom крупного концерна. Теперь, разумеется, с его карьерой все кончено. Он живет в Лондоне, пытается опять встать на ноги, но пока она одна поддерживает мать. Она не ленива, и работа в «Парижских новостях» ее интересует, но ведь Траутвейн знает, каково служить у Гингольда. А если газета закроется?

Траутвейн с интересом ее слушает. «Зайчонок, – думает он, – что за милый, тихий зайчонок!» Вслух он говорит:

– Бедняжка. – Это звучит сердечно, сочувственно, тепло. Да, то, что на него так удручающе действовало в устах Анны, кажется ему интересным, когда звучит в других устах. Здесь от него ничего не требуют, не предлагают сделать то-то или то-то, а просто рассказывают, что дело обстоит так-то: эта девочка сама не бог весть как энергична и не требует проявления энергии от других. Ему было хорошо, он заказал себе третью кружку пива. Он соглашался с Эрной, возражал ей, был полон участия, давал ненужные советы.

Потом он рассказал ей о собственных горестях. Как ни странно, ему было легче открыться этой хрупкой девочке, чем Анне или даже Чернигу. Музыка, объяснял он ей, музыка... Ему хотелось бы писать музыку, у него жгучая потребность отдаться ей, но заниматься ею можно только в разумном мире. А что это так, что аполитичной музыки не бывает, понимают лишь очень немногие. Но ведь каждый может понять, что музыка Иоганна Штрауса пуста, а музыка Оффенбаха полна содержания, хотя Штраус как музыкант нисколько не уступает Оффенбаху. Надо же понимать, что он, Зепп Траутвейн, прежде всего обязан внести свою лепту в разумное устройство мира, пусть это будет ничтожная, до смешного ничтожная лепта. И вот поэтому он никак не может дорваться до музыки; это какой-то проклятый, вечно порочный круг, с ума можно сойти. Не глупо разве? Но уж так оно есть. Он говорил возбужденно, он старался заглушить в себе доводы Анны.

– Понимаете вы меня? – спрашивал он настойчиво. – Вы должны меня понять, – требовал он. Она энергично кивала красивой детской головкой, и ее большие глаза смотрели на него с выражением доверия и понимания.

Они долго сидели здесь, они были последними посетителями, стулья уже громоздились на столах, официанты всем своим поведением давали понять, что пора убираться. Они ушли.

На улице дул слабый, приятный ветер. Теплое дуновение ласкало, не беспокоило. Деревья на бульваре, по обе стороны аллеи, в сиянии электрических фонарей казались одетыми в нежный легкий пух. Он проводил ее до остановки ночного автобуса, потом предложил проводить до следующей остановки, автобус обогнал их, и они прошли весь долгий путь пешком. Они говорили немного, но, идя рука об руку сквозь теплую ночь, чувствовали себя очень близкими друг другу.

Вот уже и ворота дома, где живет Эрн. Она медлит, стягивает перчатку; он держит в своей руке ее маленькую, красивую детскую руку, которую он так часто видел на клавишах пишущей машинки. Он мог бы сказать ей: «Мне хотелось бы выпить чашку чаю, нельзя ли подняться к вам?» Она, конечно, не отказала бы; вероятно, и ей хотелось пригласить его. Он держит ее руку в своей, они смотрят друг на друга. Оба они чуть потрепанные, осунувшиеся и внешне, и внутренне. Но они чувствуют себя очень близкими, хорошо бы согреть друг друга, они нравятся друг другу, так почему бы и нет? Прошла секунда, вторая, третья. Он держал ее руку, они молчали. Надо заговорить ему или ей; иначе мгновение будет упущено. Они не заговорили, мгновение было упущено. Он глотнул воздух. «До свиданья», – сказали они друг другу. И она вошла в дом, дверь медленно, без шума захлопнулась, он постоял еще минутку и подумал: «Славная девушка». И ушел.

Он не был филистером, он отнюдь не чувствовал себя стариком и никогда не находил ничего зазорного в физической близости с женщиной, которая ему нравилась. И все же, возвращаясь один по той улице, по которой они только что шли вместе, он был доволен, что не поднялся с Эрной к ней в комнату. Если бы он остался с ней, это было бы изменой Анне,

изменой именно потому, что между ним и Эрной возникло нечто большее, чем физическое влечение.

День выдался трудный, диктовка на линотип вымотала его, было далеко за полночь, он немного выпил и, казалось бы, должен был чувствовать себя усталым. Он подошел к стоянке такси, с минуту колебался, не поехать ли. Но затем зашагал дальше. До гостиницы «Аранхуэс» было еще довольно далеко, добрый час пути. Бистро, которое уже закрывалось, соблазнило его. Он вошел, выпил кружку пива и двинулся дальше по ночным весенним улицам Парижа.

Разговор с Эрной Редлих взбудоражил Зеппа. Он чувствовал себя молодым. В таком приподнятом настроении он, бывало, возвращался домой по улицам Мюнхена или Берлина после горячих споров за бутылкой вина или после свидания с женщиной. В сущности, самым приятным было это «после». Перебираешь в памяти все, о чем говорилось и что вообще происходило, и заново все переживаешь. Мелкое, случайное отсеивается, а все хорошее оседает в глубине твоего существа, ты впитываешь его, становишься лучше. Ему, Зеппу Траутвейну, дано было хранить в себе хорошее дольше и глубже, чем плохое.

Вот перед ним и площадь Согласия. Широко и чудесно раскинулась она, ярко освещенная дуговыми фонарями, пустынная, величественная и все-таки близкая и милая. Стройно поднимается обелиск, огромный и в то же время грациозный, плещут фонтаны. Траутвейн счастлив. Все это – только для него. Восемь каменных дев, белея, лежат вокруг обелиска, несколько чопорно, но все же маняще.

– Добрый вечер, прелестные дамы, – говорит Зепп Траутвейн. – А как, в сущности, понять, кто из вас город Марсель, а кто Страсбург? – Но он обращается к даме, изображающей город Лион. «Двадцать три метра», – думает он, глядя на обелиск. Напротив мигает огнями Эйфелева башня, словно веко, которое поднимается и опускается. И Траутвейн сначала машинально, а потом сознательно подмигивает в такт. «Concorde», – думает он, – согласие. Так пусть же отныне эта площадь называется Concordia, гармония», – думает он. «Как прекрасна жизнь», – думает он.

Охмелевшему Зеппу крайне досадно, что Тюильрийский сад закрыт. Правда, можно бы перелезть через решетку. Обидно, что ты эмигрант. Когда эмигрант перелезает через решетку, из этого ничего хорошего не выходит. Он вспоминает об эмигранте, который, страдая слабостью мочевого пузыря, принял по близорукости караульную будку у Елисейского дворца за общественную уборную и справил там свою нужду – за это его чуть было не выслали из Франции. Ничего не поделаешь, на то и изгнание. Они не разрешают ему перелезть через решетку в Тюильрийский сад. Они, эти бараны, эти ослы, не понимают, что он всей душой за республику. Но жизнь все же чудесна, прекрасные дни Аранхуэса еще далеко не миновали, и площадь Согласия принадлежит ему.

Он стоит в тяжелом раздумье. Как идти дальше – вдоль правого или левого берега Сены? Он предпочитает идти правым берегом. Решительно, ступая носками внутрь, он затрусил вдоль Лувра. Внезапно Париж скрылся. Ему кажется, что он вдыхает воздух родного Мюнхена, в то же время ясно чувствуя, что это совсем не тот воздух. Траутвейны принадлежали к старинному баварскому роду, они были неотделимы от раскинувшегося в высокогорной долине города, они были его частью, и казалось совершенно немыслимым, чтобы он, Зепп Траутвейн, кончил свои дни где-то вдали от него. Он ни на секунду не сомневается, что когда-нибудь вернется в Мюнхен, что будет снова сочинять музыку в Мюнхене, будет снова дирижировать в знакомых залах Музыкальной академии и в Одеоне, будет покрикивать на учеников или благодушно вышучивать их. «Настанет день», – довольно мурлыкает он. Да, он знает, он уверен, что будет бродить по набережной Изара, любоваться стрельчатыми башенками Фрауэнкирхе, есть сосиски и пить мартовское пиво. Он прищелкнул языком. Он заранее радуется, представляя себе, как он хлопнет Рихарда Штрауса по плечу и скажет: «Ну, соседushка, следовало бы все-таки быть умнее». И он видит себя в опере – в огромном театре с нелепым занавесом, расписанным мно-

жеством «L», и он видит себя в изящном маленьком Резиденцтеатре, а после спектакля он идет на сцену, и капельдинер здоровается с ним и по-приятельски говорит: «Ну вот, господин профессор, мы и порешили с этим свиарником».

Он видит все это с невероятной четкостью, ощущает всем существом, вдыхает запахи – почти столетний запах старого театра, старого концертного зала. И вдруг он останавливается среди города Парижа и хохочет. Хохоchet долго, звонко. Эти болваны, эти меднолобые тупицы, эти чужаки вообразили, что могут забрать у него его Мюнхен. Они шлют ноты маленькой Швейцарии, ноты, о которых трудно сказать, чего в них больше, тупоумия или наглости. И еще находятся люди, которые смеют сомневаться, что он вызовет некоего Бенямина. Вызовит? Нет, он его возьмет с собой в Мюнхен, болтуна этого. Особенно-то с ним носиться не придется, при торжественном въезде через Триумфальные ворота лучше обойтись без него, но он набрался немало страху, бедняга, и в награду за это он, Зепп Траутвейн, возьмет его с собой в Мюнхен.

Гм! Ему, Зеппу, в общем, удивительно хорошо живется. Надо думать, он хватил лишнего. Тем похвальнее, что он не поддался искушению и не пошел к Эрне. Он чувствует себя легко, бодро, совесть у него как-то особенно спокойна, он очень доволен собой. На одно мгновение в сознании всплывает берлинская нота со всей ее нарочитой бесстыжестью, и на какую-то долю секунды где-то далеко-далеко мелькает угроза *fait accompli*. Но все это быстро рассеивается, вытесненное стихами. Он тихо, ритмично декламирует вслух:

Под треск барабанный и звон кимвал
Он, тужая, речи свои изрыгал:
Отечество я, говорил он, спасу
И в пух мировой большевизм разнесу.
Герр Гитлер, ведь вам не мешало бы знать:
Натужиться вовсе не значит...

Старику Гингольду эти стишки, по всей вероятности, не подойдут. Да и у Чернига стихи получше этих. Но ему, Зеппу Траутвейну, они нравятся.

– Мне они нравятся, – говорит он громко, весело.

До «Аранхуэса» уже совсем близко. На пустынной улица гулко отдаются его шаги. Этот последний отрезок пути он проходит окрыленный, усталости как не бывало, он совершенно не чувствует своего тела, словно несется на лыжах. Он весь полон музыки: на поверхности звучит что-то совсем легкое, ясное, глубже – рокочет бурное отчаяние «Персов», надо всем этим не очень резко, но все же торжествующе взлетают звуки фанфар. А для себя, правда довольно громко, он поет, и то, что он поет, – это не фанфары и не отчаяние, это, как ни странно, старинная мюнхенская народная песенка, гимн города Мюнхена:

Пока наш старый Петер
На горке своей стоит,
Пока зеленый Изар
Сквозь Мюнхен воды струит,
Спокойно могут течь года —
Радужен Мюнхен наш всегда.

В высшей степени простая песенка, грубоватая, сентиментальная, примитивно-веселая. Теперь, конечно, она звучит условно, стоит лишь вспомнить о господине Гитлере и о концлагере в Дахау, какое уж тут радушие, и все же в этой песенке отражен весь Мюнхен, Фрауэнкирхе, и сосиски, и мартовское пиво, и «За ваше здоровье, дорогой сосед», обращенное к пер-

вому встречному, а это, в сущности, означает то же самое, что и «К нам в объятия миллионы»¹⁵, но только в простой, народной форме, а уж это поднимает мюнхенскую песенку до одной из вариаций Девятой симфонии, и ему она, эта песенка, во всяком случае, очень нравится, так нравится, что стоит пропеть ее еще раз и несколько громче.

– Э-ге-ге, милый человек, да мы никак лишнего хватили? – раздается вдруг чей-то голос. Это полицейский.

– Возможно, господин флик, – отвечает благодушно настроенный Траутвейн; а «флик» – это презрительная кличка французских полицейских.

– Плащ на вас хоть куда, – одобряет Траутвейн, указывая на пелерину полицейского.

– Да, неплохой, – добродушно соглашается полицейский. – А теперь, пожалуй, нам лучше всего отправиться восвояси.

Так Зепп Траутвейн и делает. В гостинице «Аранхуэс» есть лифт, но он не воспользовался им, а поднимается по истоптанной лестнице, покрытой плохонькой дырявой дорожкой. Вдруг он вспоминает об ответной ноте Берлина и о своей статье. Статья кажется ему особенно удачной, и он, по старой привычке вполголоса, чтобы не мешать окружающим, задорно насвистывает «Если хочется графу сплясать».

Если хочется графу сплясать —
Можем сказать,
Мы сыграем ему,
Ох, сыграем ему,
Ох, сыграем ему, —

напевает он, поворачивая ключ, торчащий снаружи в дверях, ведущих в их комнаты.

«Она, значит, уже легла», – изумляется он, одновременно удивляясь своему изумлению: не могла же Анна до глубокой ночи – а сейчас уже после четырех – ждать его прихода.

Он ощупью пробирается по тесно заставленной комнате. Как-то сразу почувствовалась усталость. Его радость, его блаженное состояние испарились, едва он переступил порог этой комнаты; он уже больше не приглашал сплясать какого-то графа. Ему вдруг страшно захотелось кофе. Но он побоялся разбудить Анну и мальчугана. Он старается по возможности не шуметь. Но конечно, он что-то опрокидывает, и Анна мгновенно просыпается.

– Добрый вечер, – говорит он.

– Который час? – спрашивает Анна не то чтобы сердито, но и не особенно ласково.

– Не очень-то рано, – отвечает он. – Двадцать семь минут пятого, – уточняет он деловито, глядя на красивые стенные часы. Анна молчит, но он видит, что она следит за каждым его движением, пока он раздевается. От него пахнет сигарами и, вероятно, довольно сильно – пивом, и этот запах вдруг становится ему неприятен.

– Я бы, собственно, не прочь сварить себе кофе, – говорит он, но, не успев договорить, жалеет о сказанном.

– Только смотри не разбуди мальчика, – говорит она. – Принеси спиртовку сюда.

Он старается двигаться бесшумно, но это удается ему с трудом.

– Ты читала ответную ноту Берлина? – спрашивает он, приготовляя кофе.

Анна ее читала, да и у доктора Вольгемута о ней говорили. Она была уверена, что Зепп с его сангвиническим темпераментом, прочтя эту наглую ноту, упал с седьмого неба на землю. Конечно, для него это тяжелый удар; конечно, он вне себя и потому-то, вероятно, выпил немного и пришел домой так поздно.

¹⁵ Слова из известного стихотворения Шиллера «К радости», включенного Бетховеном в хоровую часть Девятой симфонии.

Услышав об этой недоброй вести из Германии, она решила быть с ним особенно ласковой, но, к великому ее разочарованию, час проходил за часом, а он все не шел и вот теперь, около пяти часов утра, является в таком виде. И все же сегодня ему многое простится, у него был тяжелый день, она должна ему помочь.

– Это только маневр, – повторяет она, чтобы его утешить, слова, которые от кого-то слышала. – Они стараются оттянуть время. Швейцария, несомненно, обратится в третейский суд. Все так думают, не исключая газет.

Но он как будто не так уж потрясен.

– Я тут же продиктовал надлежащий ответ прямо на линотип, – заявляет он гордо. – Ну и намылил я им голову. Статья получилась, ей же богу, великолепная.

Он отправляется в ванную за чашкой. Длинный и широкий халат, когда-то элегантный, а теперь потрепанный, висит на нем мешком. «Надо бы купить ему новый, – думает Анна. – Но он истратил все деньги на микроскоп».

– Не разбуди мальчика, – предостерегает она вторично.

Он возится на кухне, затем возвращается с кофейной чашкой в руках и садится на кровать. Он умылся, почистил зубы и от этого чувствует себя словно и внутренне чище. Вот, думается ему, и опять он нормальный Зепп Траутвейн, он не скачет до небес от восторга и не сокрушается до смерти, он такой, каким бывает каждый день, точнее, каждую ночь. Он радуется чашке кофе, радуется, что Анна проснулась. Это, конечно, эгоистично, но ему хочется сейчас с кем-нибудь поговорить, а Анна – добрый, старый друг, она не смеялась над ним по поводу ноты, это ей зачтется.

– Статья удалась, – благодушно сказал он, помешивая ложечкой кофе. – Я в виде опыта продиктовал прямо на линотип. Статья в самом деле вышла замечательная. Мне крайне интересно, что ты скажешь, когда прочтешь. – Он поднес чашку ко рту, отхлебнул. – Фу, какая гадость! – воскликнул он и выплюнул. – Что это за бурда? – Он говорил с раздражением, он так радовался этому кофе, и вот пожалуйста. – Молоко, – сказал он недовольно, сварливо, – оно испортилось, скисло. Что же это такое, оставлять человеку скисшее молоко. Свинство. Ведь видно, что свернулось. – Он был очень раздосадован.

– Может быть, ты будешь говорить тише, – сказала Анна приглушенным голосом, но очень зло. – Незачем будить еще и мальчика.

Он посмотрел на нее. От резкости ее тона рассеялись последние клочья блаженного тумана, окутывавшего его. И раньше бывало, что у Анны прорывалась энергичная нотка в разговоре с ним, но чтобы она говорила так тихо, резко и враждебно, этого он не запомнит. Он взглянул на нее, оторопевший, растерянный. Стал думать. Что с ней? Рано утром она должна быть на работе у этого треклятого Вольгемута, она переутомлена, с утра до вечера на ногах, она заслужила свой ночной сон, ему не следовало ее будить. Но ведь он это не намеренно сделал. Разве такое уж преступление захотеть выпить чашку кофе в неурочный час? В конце концов, за эти два года он немало брал на себя, но не жаловался и не хныкал. Учись страдать молча. А разве Анна когда-нибудь жаловалась? Вздор. Конечно, он не прав. В истории с берлинской нотой Анна вела себя исключительно порядочно. Ее, несомненно, подмывало воспользоваться нотой, для того чтобы возобновить свои старые нападки на его политику. Но она сдержалась, она не сделала этого. Нельзя требовать от человека, чтобы он, разбуженный среди ночи, был воплощением любезности и нежности. Надо сказать ей что-нибудь ласковое.

Самое разумное – сделать вид, что он не заметил ее резкого тона, что он вообще ничего не слышал.

– Я хочу тебе рассказать кое-что, – говорит он торопливо, неестественно приподнятым тоном. – Знаешь, что я делал по дороге? Сочинял стихи. Стихи преглупые, но, по-моему, очень забавные. – И он декламирует:

Отечество я, говорил он, спасу
И в пух мировой большевизм разнесу.

Она рассеянно слушает его. Стишки и в самом деле смешные, и вот она уж и улыбается. Но тотчас же смахивает с лица улыбку. Она не желает сейчас слушать смешные стишки. Что он вздумал? Прийти домой в четыре часа утра и попрекать ее за то, что среди ночи в доме не оказалось свежего молока. Ее-то. Она бы тоже не прочь, чтобы хозяйство велось лучше, но, к сожалению, не хватает денег. Если ему, и ей, и мальчику живется не так ужасно, как Элли, то это не его заслуга. Молоко несвежее. Она тут при чем? Молоко приносят в те часы, когда она у Вольгемута. Она раз сто говорила мадам Шэ, своей приходящей прислуге, чтобы та не сливала свежее молоко в одну посуду со вчерашним, но все это впустую, мадам Шэ молода, хороша собой, и в голове у нее одни кавалеры. Она кое-как отрабатывает свои часы, она работает плохо и за дешевую плату, она безалаберна, и хоть кол на голове теши – она все равно будет сливать в одну посуду свежее и вчерашнее молоко. А просто вылить вчерашнее молоко – это нельзя себе позволить, и нанять другую прислугу тоже нет возможности, да и времени нет возиться с ней, пока ее вышколишь. Зеппу-то что, он ничего знать не знает, ему все легко достается. Он выбрасывает пятьсот франков на покупку микроскопа, а между тем мальчику микроскоп ни к чему. Гансу жаль понапрасну истраченных денег, он бежит по Парижу и старается загнать микроскоп. Не меньше двухсот франков придется на этом потерять. Двести франков выброшены на ветер. И после всего Зепп сидит с недовольной миной и ворчит, что среди ночи не оказалось свежего молока.

Зепп Траутвейн смотрит на нее. Он сидит на кровати, халат на нем распахнулся, голые ноги мерзнут. Но она не улыбается, лицо у нее по-прежнему мрачно.

Мрачнеет и он, и во взгляде, которым он смотрит на нее, появляется недобрый огонек. Нет, очаровательной ее уже не назовешь. Черты лица расплылись, глаза потускнели, утратили блеск, волосы всклокочены, порядком поседели. И еще сердится, упрямится. Он не пошел с Зайчонком только потому, что думал об Анне, а она вот как ведет себя.

Оба молчат и только поглядывают друг на друга. Оба насквозь видят друг друга и хотя не могли бы точно выразить словами мысли другого, но приблизительно угадывают их и не могут подавить в себе неприязни.

В открытое окно вливается мутный рассвет, дуговые фонари еще горят, и в этом унылом полумраке комната кажется вдвойне неприглядной.

«Изгажено, – думает он. – Все изгажено. Никогда не бывать мне больше в Мюнхене, никогда не вступить под Триумфальные ворота и даже по железной дороге в вагоне третьего класса не приехать на мюнхенский вокзал. Эти проклятые бараны навек останутся в Мюнхене, они распространятся по всему миру. Они испакостили Кенигсплац, вышвырнули из страны или уволили лучших музыкантов, они испакостят все. Не бывать больше никаким репетициям, да и лекций никаких не будет, будет только одно дерьмо. И никогда капельдинер в театре не скажет мне: „Ну вот, господин профессор, мы и порешили с этим свинарником“. Никогда мы не порешим с этим свинарником, никогда мы от него не избавимся, и Беньямина, черт бы его подрал, они тоже никогда не освободят, *fait accompli*, так оно и останется, и господин Гитлер будет по-прежнему плевать на все. Глупый баран – это я. Анна права. Не нужно было забрасывать музыку. Но это возмутительно, что она права, а сейчас она еще и показать хочет, что была права. А я не пошел с Зайчонком. И зря».

Анна чувствует его неприязненные мысли. «В следующий раз, – думает она, – когда я увижу мадам Шэ, я устрою ей скандал. Хотя от этого никакого толку, но я все-таки в тысячный раз скажу ей, чтоб она не смела сливать в одну посуду вчерашнее и свежее молоко, я скажу ей это не шутя, а очень резко, я накричу на нее, а в следующий раз она, конечно, опять смешивает свежее молоко со вчерашним. Я все быюсь с этими Перейро и с этим сбродом из радио, я

ломаю себе голову, а ему это ни к чему. Я уговариваю его, как капризного ребенка, чтобы он наконец бросил свою политику. До мозолей на языке убеждаю его вернуться к музыке. Я-то сама и думать даже не могу о чем-нибудь стоящем, мои постылые заботы и моя постылая работа целиком съедают меня, а он ведет себя так, точно я все это делаю ради собственного удовольствия. Сколько бы я ни расшибалась в лепешку, все равно меня постигнет та же участь, что и Элли. Я уже стара и некрасива, и у меня нет денег прикрыть все изъяны. Из-за него я превратилась в старуху, а он смотрит на меня такими глазами».

И вдруг она резко говорит ему:

– Ты что, совсем голову потерял? Не замечаешь, что становишься общим посмешищем? Брось ее к черту, твою дурацкую политику. Ты же все равно ничего в ней не смыслишь. Ты только ставишь себя в нелепое положение. Неужели тебе все еще не ясно, что ты ходишь в донкихотах? – «Кофе ему понадобился, – думает она. – В пять часов утра кофе. Да еще ворчит, что молоко скисло. Но что же он думает? Я-то что могу сделать? Не могу же я в самом деле силой заставить эту Шэ наливать свежее молоко в чистую посуду». – Ты рехнулся, – говорит она громче, резче. Сейчас ее голос никак нельзя назвать приятным, лицо искажено. – Рехнулся. Рехнулся, – без конца повторяет она. – Займись лучше своими «Персами», – говорит она, – и забудь о политике, не твоего ума это дело. Ты рехнулся и делаешь сумасшедшими всех вокруг себя. – Она кричит все громче и громче: – Да, ты рехнулся, рехнулся. Тебе место в Дальдорфе.

Она визжит. Никогда еще, сколько Зепп ее знает, она не кричала, и вот в этом бурном порыве вылилось все – вся горечь, накопленная за последние два года. При этом мысль ее работает четко, она прекрасно сознает, что говорит. Что за чушь она порет? Как можно здесь, в Париже, в изгнании, говорить о том, что ему место в Дальдорфе, в берлинском доме для умалишенных? Она отдает себе отчет, что эта истерика свела на нет все ее самообладание, которое так трудно давалось ей в эти два года. Но она ничего не может с собой поделать, она не может не кричать. Ей уже недостаточно одного крика. Она хватается дешевый фаянсовый подсвечник, который неизвестно для чего стоит на ночном столике, и так швыряет его об пол, что он со звоном разбивается вдребезги.

Застучали в стенку, застучали в пол снизу. Вбежал Ганс, заспанный, испуганный.

– Что случилось?

Услышав стук в пол, увидев Ганса, она сразу же приходит в себя. «Выдохлась, окончательно выдохлась, – думает она, – меня уже ни на что не хватает, даже на гнев». Ибо весь ее гнев улетучился. Ей стыдно перед Гансом.

– Иди к себе, мальчик, ложись, – с усилием говорит она. – Это пустяки. – Она истерически всхлипывает и бросается ничком на постель, стараясь заглушить подушкой рыдания и стоны.

Траутвейн, перепуганный насмерть, машет сыну, просит:

– Иди к себе, Ганс, ложись. Сейчас все пройдет.

Комнату уже заливал тусклый, унылый свет серого утра, и тут он впервые увидел Анну, увидел ее такой, какой она стала и внешне, и внутренне. Он понял, как много еще содержания осталось в его жизни и как мало – в ее. У него есть политика, музыка, его день – это шестнадцать насыщенных часов, один богаче другого; у нее же нет ничего, ничего, ничего. Ей осталось только цепляться за него, а он, быть может, изредка ее погладит, как доброе, верное животное. Вдруг он понял, что такое все эти бесчисленные страхи и мелкие заботы, вызывающие в нем только досаду или в лучшем случае благодушное презрение. Все, с чем он сталкивался благодаря «Новостям», что открывалось ему из разговоров с сослуживцами и из переписки с читателями и всякого рода просителями, что с такой ужасающей ясностью предстало перед ним в «Сонете 66» Гарри Майзеля, – все это он вдруг ощутил всем своим существом, понимая, что и он разделит бы общую участь, если бы не Анна. Анна и только Анна оградила его от всех ужасов, а он этого не замечал, не хотел замечать. И вот он является домой, прошатавшись всю ночь, будит ее и скандалит оттого, что молоко не очень вкусно.

Она все еще лежит, зарывшись лицом в подушки. Куда девались ее красивые темно-каштановые волосы? Они поседели, потускнели. Но спина, вздрагивающая от всхлипываний, все еще такая, какую он любил двадцать лет назад. Бережно проводит он рукой по этой спине и, приглушая голос, ласково приговаривает:

– Не надо, Анна, не надо.

Еще некоторое время он сидит около жены, стараясь успокоить ее; затем тихонько ложится рядом и кладет ее голову к себе на грудь.

Ни он, ни она не произносят ни слова; он чувствует себя глубоко виноватым. Он рад, что ей легче, что вспышка прошла. Она высвобождается из его объятий. Он как-то сразу чувствует всю усталость минувшего тяжелого дня и долгой ночи. Да, он устал, как пес. Единственное, что он еще чувствует, – это безграничная, мучительная усталость, переполняющая его. Он хочет что-то сказать Анне, но не в силах. Помимо воли он засыпает крепким глубоким сном.

13

Песенка о базельской смерти

– Удивляюсь, дорогой Визенер, – сказал Шпицци, и сияющая улыбка обнажила его прекрасные новые зубы, – что вы из-за такого пустяка пожаловали собственной персоной. – Он нагло и любезно смотрел в лицо Визенеру; хотя от всего облика этого человека веяло молодостью, в его светлых глазах иногда неожиданно мелькало по-стариковски хитрое ироническое выражение.

Разговор происходил в служебном кабинете фон Герке на улице Лилль. Шпицци был прав, Визенеру и самому было странно, что такое незначительное обстоятельство, как дело Беньямина, заставило его отправиться в посольство. Он, пожалуй, и сам жалел уже, что приехал. Однако побуждение, погнавшее его сюда, было слишком сильно.

Когда он читал бессмысленный и наглый лепет, которым Берлин ответил на швейцарскую ноту, и у него тоже возникло тягостное впечатление, будто дело уже, пожалуй, кончено и объекта спора не существует. Визенер не был сентиментален, он вряд ли смог бы объяснить, почему после множества других тупых, зверских злодеяний его так глубоко взволновало именно это; но так оно было. Думая о том, что Фрица Беньямина могли убить, он испытывал почти физическое отвращение, словно проглотил тухлую устрицу.

Шпицци это дело, по-видимому, не особенно трогало. Во всяком случае, он продолжал чуть-чуть подтрунивать над Визенером в своем обычном тоне, любезно и не без коварства.

– Видите, *mon vieux*, – глубокомысленно сказал он, – два месяца назад вы удивлялись, что я всполошился из-за некоего Беньямина и некоего Траутвейна. А теперь вы сами пожаловали сюда. Кстати, доставлены вам материалы о «Парижских новостях»? – осведомился он.

Визенер поблагодарил. Материалы получены. В этом деле Шпицци вел себя безукоризненно. Он послал ему, не ожидая письменного запроса со стороны Визенера, толстую папку с документами, касающимися «Парижских новостей», все досье – подробные ценные сведения, прежде всего об издателе Луи Гингольде. Имея на руках такие материалы, можно начать кампанию против «Парижских новостей» с большими шансами на успех. Почему не делает этого сам Шпицци? Ведь именно сейчас, когда история с Беньямином сошла не совсем гладко, ему не мешало бы выслужиться перед Берлином. Почему же он послал материалы Визенеру? По щедрости натуры? Или не хочет сам пачкать руки? Или ему это просто безразлично?

Но Визенер явился сюда не для того, чтобы читать в душе Шпицци, ему хотелось избавиться от преследовавших его сомнений. Его мучила мысль, что дело Беньямина – комедия, что вся эта пляска идет вокруг трупа. Несомненно, Леа или Рауль вскоре опять спросят его о Фридрихе Беньямине; что он ответит? Представляя это себе, он ежится, как в свое время в окопе, когда его донимали вши. Нет, он не доставит Шпицци удовольствия, не будет с ним говорить о материалах, касающихся «Парижских новостей», довольно он ходил вокруг да около, пора идти в открытую.

– Как по-вашему, дорогой Шпицци, – спросил он в упор, – дело Беньямина можно считать ликвидированным?

Господин фон Герке не замедлил уловить скрытый смысл вопроса. «Ликвидировано», сказал Визенер. Это был точный технический термин; человека «ликвидируют», «сплавляют», «убирают», и тем самым ликвидируется все дело. Шпицци уже и сам спрашивал себя, не ликвидировано ли таким путем дело Беньямина, он не возражал бы против такой развязки. Фрицхен Беньямин был ему безразличен, но вечная болтовня об этой нелепой истории действовала ему на нервы.

Так или иначе, не все ли равно Визенеру, чем кончилось похищение Бенямина? Шпицци чувствовал презрение к репортерскому зуду этого человека, он вскинул голову, слегка наклонил ее набок и надменно фыркнул.

– Ликвидировано ли дело Бенямина? – спросил он с легким удивлением. – Разве вы слышали что-нибудь такое? У нас, во всяком случае, ничего не известно. – Он говорил сухим тоном, не располагавшим к продолжению разговора. Но тотчас же, словно желая загладить резкость своего ответа, снова придал лицу прежнее нагло-любезное выражение и продолжал сердечно, доверчиво: – Ведь мы осведомлены не лучше вас, мы тоже пробавляемся догадками. Найдутся, конечно, люди, у которых явится вполне понятное желание раздавить клопа, другие же будут считать, что раздавленный клоп воняет больше живого. Не знаю, какая точка зрения правильнее. Я очень рад, что на мне не лежит необходимость решать. Неужели этот клоп серьезно беспокоит вас? – с удивлением, чуть ли не с участием спросил он.

Визенера возмущала безмерная наглость Шпицци; этот парень, несомненно, явился на свет задом наперед. Но в том, как и что он говорил, можно было предположить правду. Герке, как видно, действительно ничего не знает и не очень близко принимает к сердцу этот вопрос. И с его, Визенера, стороны идиотство воспринимать все это иначе.

Господин фон Герке, хотя он еще отнюдь не знал, как выпутаться из дела Бенямина, нисколько не беспокоился. Будь что будет. В худшем случае за него заступится Медведь. Медведь не оставит его в беде; Медведь часто ворчит, но, когда надо, действует.

– А ведь было бы, пожалуй, и в самом деле лучше, – размышлял он вслух, так как Визенер не ответил, – если бы эта история действительно оказалась – как вы сказали? – ликвидированной. – Он сверкнул зубами и начал тихонько насвистывать. Мотив был Визенеру знаком, какой-то очень известный мотив, но слов он никак не мог припомнить, и это злило его. – Боюсь, дорогой Визенер, – ответил наконец фон Герке на собственный вопрос, – что на вас нашел сентиментальный стих и вы бы не прочь, чтобы этого клопа лелеяли и хранили, как драгоценность.

Он едва заметно пожал плечами и опять стал насвистывать тот же мотив. Визенер все еще молчал; он думал не столько о словах Шпицци, сколько старался вспомнить слова этой проклятой песни. Молчание становилось тягостным.

Вдруг он вспомнил. Шпицци насвистывал старую народную песенку, простую и наивную песенку о базельской смерти: как один человек просит базельскую смерть забрать его старую, а затем и молодую жену: обе они ему в тягость, и он хочет от них избавиться. Припев начинается словами: «Дружок мой, базельская смерть...» Визенер обрадовался. Яснее Шпицци не мог бы ответить на вопрос, который привел сюда Визенера. Если бы Фрицхен был мертв, у господина фон Герке не было бы повода призывать базельскую смерть.

Визенер, явно повеселев, переменял тему разговора. До сих пор Шпицци поддразнивал Визенера, а теперь Визенер со своей стороны заговорил о событии, которое, по его мнению, могло быть неприятным фон Герке. Он рассказал, что в Париж скоро прибудет некий господин Гейдебрег – в качестве эмиссара фюрера. Пока не совсем ясно, в чем будет заключаться миссия Гейдебрега в Париже. Предполагают, что в Берлине и на Волшебной горе – так назывался замок фюрера в Берхтесгадене – эмигранты и их пресса всем надоели и решено начать против них кампанию. Господину Гейдебрегу, вероятно, поручено также расследовать дело Бенямина, то есть взять в оборот Герке. Эта мысль вернула Визенеру прежнее чувство превосходства над Шпицци. Он говорил с ним о Гейдебреге осторожно, с вежливым, подчеркнуто сдержанным сочувствием, как говорят с больным о его болезни, но и не без злорадства. Однако он бил мимо цели. Господин фон Герке ждал для себя от приезда Гейдебрега лишь выгод. Гейдебрег был дружен с Медведем и, без сомнения, не получил от него нежелательных для Шпицци инструкций. Шпицци и его гость оживленно разговаривали о лице, приезд которого

ожидался, выражали самые разнообразные надежды и опасения и умалчивали лишь о том, на что они действительно надеялись и чего действительно опасались.

Разговор закончился приятнее, чем начался. Хотя на улице Лилль, по-видимому, тоже не знали ничего определенного, но у Визенера все же было ощущение, что объект спора еще жив и что глухая тревога, прозвучавшая в статье некоего Траутвейна, – лишь проявление обычной эмигрантской истерии. Он сел в машину, которая ждала его у посольства, и, отъезжая, насвистывал про себя: «Дружок мой, базельская смерть».

* * *

На обед он был приглашен к мадам де Шасефьер. Леа была сегодня особенно красива: платье цвета голубоватой лаванды оттеняло нежную, светлую кожу, каштановые волосы и зеленовато-синие глаза. Визенер позабыл о неприятном утре, он был доволен собой, своей подругой и жизнью. Он наслаждался приятной атмосферой спокойного дома, тонкими кушаньями, светлой столовой, видом на красивый газон сада, обнесенного каменной оградой.

– Однако вам здорово досталось от этого Траутвейна, дорогой Эрих, – неожиданно сказала своим звонким, приветливым голосом Леа, наблюдая, как слуга Эмиль очищает для нее форель.

Настроение Визенера сразу упало. Здесь, на улице Ферм, он рассчитывал на несколько часов забыть о делах; надеялся, что после разговора со Шпицци сможет выкинуть из головы неприятное дело Бенямина; его бесило, что этот ужасный Траутвейн опять стал на его пути и вдобавок ко всему Леа еще посмеивается над ним в присутствии слуги.

Он ничего не ответил, и Леа с улыбкой подняла глаза на натюрморт, который висел против нее на стене.

– Если вы, нацисты, будете продолжать в том же духе, – сказала она, – то у меня скоро соберется целая картинная галерея.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.